

A painting depicting a man in a grey, heavy robe with a dark belt, seen from behind, working in a workshop. He is painting a portrait of a man with a halo, likely a religious figure, on a canvas. The workshop is filled with various items, including a bowl on a table, a window with curtains, and other paintings or sketches. The lighting is warm and dramatic, highlighting the textures of the robe and the colors of the painting.

ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ

Детские
Мои

Annotation

Книга дневников и размышлений о церковной жизни конца восьмидесятых – середины девяностых годов XX века. Основной собеседник автора и главный герой книги – известный иконописец архимандрит Зинов (Теодор).

- [Валентин Курбатов](#)
 -
 -
 - [Конец ознакомительного фрагмента.](#)
-

Валентин Курбатов

Батюшки мои

*Допущено к распространению
Издательским Советом Русской
Православной Церкви ИС Р15-501-
0056*

© ООО «Торгово-издательский
дом «Амфора», 2015

* * *

*Какая там «тихая
пристань»! Здесь может
быть только человек-*

*творец, возжелавший
внутри себя найти
нетленную первооснову.
Здесь «невидимая брань»
и воинское дело духовного
подвига.*

*Ф. Уделов.
Монастырь и мир*

Я не знаю, у кого из святых отцов архимандрит Зинов взял эти наставления в поучение одному из слишком беспечных, не по-монастырски вольнолюбивых послушников, но берегу писанный в подчеркнуто старой орфографии листок, чтобы, переступая порог монастыря, не нести туда «уличных»

страстей. За этими стенами властвуют не наши честолюбивые кодексы и не наши бодрые добродетели.

«Монах есть тот, кто, будучи облечен в вещественное и бренное тело, подражает жизни и состоянию бесплотных».

«Монах есть всегдашнее понуждение естества и неослабное хранение чувств».

«Монах есть тот, кто, скорбя и болезнуя душою, всегда помнит и размышляет о смерти и во сне, и в бдении».

Даже и не ведая этих правил, мы переступаем порог монастыря с необъяснимым смятением и,

несмотря на все бесстыдство многолетней атеистической пропаганды, особенно ожесточенной к монастырям, до первого живого столкновения с монашеской обителью чувствуем требовательную, укоряющую нас инакость этого быта, его нездешнюю строгость.

Казалось, мы уже навсегда отторжены от этого мира. Можно было читать Лескова или Достоевского (монастырские главы «Карамазовых» или «Бесов»), чеховского «Архиерея» или толстовского «Отца Сергия», но для недавнего советского слуха это была только «литература», только бесконечное прошедшее

вроде крепостного права. И даже если вспомнить первые впечатления от посещения монастыря людьми моего поколения, вернувшимися в Церковь уже после тысячелетия Крещения Руси, то и они еще не один месяц будут тревожно неуверенными и волнующими, как выпадение из времени. Думаю, что это чувство смятения и неуверенности немногим отличается у новичков и сейчас. Разве что позднее, спустя годы, когда подлинно войдешь в Церковь не созерцателем, а исподволь опамятовавшимся и постепенно окрепшим православным (слава Богу, не потерявшим родовой памяти), начнешь почаще бывать в монастыре,

входить в порядок его долгих служб, то так же понемногу, как бы само собой догадаешься, что настоящее-то время во всей полноте, во всей духовной выси этого понятия ощущается именно здесь. Здесь ты современник не суетному дню, а всем, кто стоял тут до тебя и будет стоять после, что сразу придает душе силы, а уму света.

И тут же словно сами собой начнут сходиться живые, необходимые книги, которые, кажется, только и ждали твоего духовного поспевания. А когда прозревает нация, то они приходят не к одному тебе, а и в общую современную культуру. И теперь уже

не в одних монастырях можно прочесть и зайцевские воспоминания об Афоне и Валааме, и дивные, не знающие ни подобия в нашей литературе, ни продолжения книги И. Шмелева – его «Богомолье», его «Лето Господне», его «Старый Валаам». А там, глядишь, дойдет дело до книги Константина Леонтьева об оптинских днях Климента (Зедергольма) и до бесхитростной, чудно сердечной книги Сергея Нилуса «На берегу Божьей реки», где Оптина предстанет во всей полноте внешне бедного, но духовно неисчерпаемого быта. Все, кто читал их, помнят святой воздух их доброты, их чистую

ясность, их благоговение.

Ожесточенные, приученные коварством государства всякое слово принимать с осторожностью, а всякого ближнего только как товарища по работе, общественного союзника или противника, забывшие старинные русские обращения к незнакомым людям «матушка», «брат», «сестрица», мы еще долго стыдимся братской любви этих книг, их молитвенной, порою умиленной речи. И нет-нет еще покажется, что герои тех же Шмелевских книг простоваты и будто даже оторваны от настоящей-то жизни, что-де и за польза в этих безусловных,

не спрашивающих послушания? А между тем эти «немудрые» послушники собрали духовную Россию, и я не удержусь, чтобы не процитировать страницу из шмелевского «Старого Валаама», где он спустя годы узнаёт, как два мимолетных его монастырских знакомых были отправлены потом на послушание в Уссурийский край и основали там не только крепкую обитель, но и хорошее издательство, чьи святые книги и до родного Валаама доходили: «Крестьянские парни русские, пошли они с Валаама в далекий и дикий край и понесли Свет Христов. Сколько тягот и лишений приняли, жизни свои

отдали Свету, стали историческими русскими подвижниками, продолжателями дела Святителей российских. И в этих подвигах и страданиях сохранили святое, среди мерзости духовного опустошения, какой же пример и сдержка для окружающих, ободрение и упование для алчущих и жаждущих Правды. Такими жива и будет жива Россия».

Она и впредь будет такими людьми жива. Сколько монахов сегодня несут послушание по дальним псковским приходам в стороне от дорог, неустанно трудясь, чтобы сохранить эти приходы в обезлюдевших селах

и уберечь храм как последнюю опору, чтобы земля не осиротела совсем. Порою одних хозяйственных забот на их плечах больше, чем священнических, и к Богу-то они поневоле, как шутил печерский старец архимандрит Иоанн Крестьянкин, «одним крылышком, но зато каждым перышком». И это они поднимают Вознесенский монастырь в Великих Луках, и Крыпецкий монастырь под Псковом, начиная опять с пустого и хорошо если не обесчещенного места, уповая только на неутомимые руки и молитву.

Да и в самой обители труда

всегда не меньше, и он не легче. И я не о физической работе говорю, хотя и она, для монастырской кухни например, всегда начинается до света, когда келарь возжигает свечу у негасимой лампы над ракой основателя и несет огонь, чтобы разжечь печь для хлебов и просфор и тем подхватить послушание предшествующих столетий как одно, не подвластное времени дело, как одной Церкви понятное время «во веки веков» — словно та же просфора, один «хлеб Христов» ложился перед первым настоятелем и нынче служащим священником. А там скоро затеется работа на конюшне, в кузнице,

в гараже, в мастерских. Но главным-то все-таки будет труд молитвы. Евангелие нас всех предупреждает, что «Царствие Небесное нудится» (Мф. 11: 12), достигается непрестанным усилием, не дающим расслабиться трудом, но мы умеем пропустить это мимо ушей, слишком прямолинейно поняв слова Спасителя «Бремя Мое легко есть» (Мф. 11: 30), – а оно «легко» до креста на Голгофе; и монах помнит это за себя и за нас постоянно вместе с мыслью о смерти.

И всюду – при всей тяжести послушания, в коровнике, в лазарете, в кузнице – это труд благодатный,

неуловимо отличный от работы в миру. В молитве ли разгадка (а с нее начинается всякое монастырское послушание), в постоянном ли предстоянии перед Богом, но тут каждое занятие чисто и важно душе, словно труду возвращается первоначальная святость, и всякое дело незазорно, и все равны перед Божьим порядком мира.

...Но это я уж с «середины» начинаю. Словно книжка уже написана и не хватает одного вступления, а между тем дорога этого текста была долгой. Не было никакой книжки, а была сначала просто жизнь. Дневник же завелся

даже как будто просто исподволь, словно сам собой родился (никак не найду его отчетливого начала), только когда судьба свела меня с иеромонахом, игуменом, а там и архимандритом отцом Зиномом, его мыслью, его непрерывным напряжением, которое, очевидно, происходило от самой его «профессии», его небесного дара иконописца. Не зря Евгений Трубецкой звал икону «умозрением в красках». Образ – это молитва и мирознание, богословие и философия, литургия и искусство в непрерывном взаимопроникновении. Конечно, мне все было ново и мало было

услышать. Хотелось записать, удержать, обдумать. А потом уже бежать к друзьям и духовным детям отца Зинова, скорее усадить их за стол: «Послушайте! Батюшка сказал...» И думать вместе и радоваться, что он меж нами, и вместе с ними расти душой.

Пожалуй, больше для них и писал – для Валерия Ивановича Ледина, который одно время был старостой Троицкого собора (в пору, когда отец Зинов писал там Серафимовский иконостас) и в доме которого мы и виделись с отцом Зиновом. А уж потом мы часто виделись и говорили с отцом Зиновом и в самом этом

Серафимовском храме, где в конце дня служили вечерню, или в звоннице собора, где отец Зинов во время этой псковской работы и жил. Позднее Валерий Иванович стал монахом Иоанном. Писал я свой дневник и для музейщицы Ираиды Городецкой, которая тоже через несколько лет станет монахиней. Они уходили за отцом Зиновом, с годами постигая через него полноту и красоту Церкви. Теперь их обоих давно нет на белом свете. Писал для поэта Артемия Тасалова, архитектора Сергея Михайлова, для Михаила Ивановича Семенова и Саввы Васильича Ямщикова.

Мне было трудно носить это счастье слышания и понимания каждый день нового мира одному. Тем более время-то – вспомните-ка! Только-только Россия отпраздновала тысячелетие Крещения, прожив семьдесят лет в «одичании умственной совести», как звал это состояние отец Георгий Флоровский. И сама-то Церковь только приходила в себя. До книжного моря в храмах было еще далеко. Это сейчас зайти в церковную лавку – и растеряешься: тысячи книг предлагают тысячу способов спасения – почти и напрямик в Царствие Небесное! А тогда еще опытом надо было брать, вглядыванием и вслушиванием.

Да и монастырь ведь! Приходской опыт тут помогает мало.

Ну и, конечно, прежде всего само явление! Кто знал и знает отца Зинона, тем ничего объяснять не надо. А кто не знал, надеюсь, даже и по моим захлебывающимся записям увидит, отчего я был нетерпелив в своих заметках.

Этим записям с первой страницы уже двадцать пять лет. И я и правда думать не думал об их публикации. А вот теперь, когда моя жизнь даже не идет, а летит к закату, вдруг вижу, что это уже как будто и не частная, не только моя и моих друзей история, а просто история нашего общего мечущегося тогда

русского самосознания на пороге возрождения Церкви. И история живая, потому что писана не отвлеченным умом, а живым переживанием. Кипящие в ней вопросы сегодня в большинстве загнаны внутрь, но так и не разрешены. Ну, значит, не грех повторить их снова.

На минуту смутишься: не сор ли это из избы? Не вода ли на мельницу злых умов, которые ждут не дождутся повода к иронии, а то и к ученому сопротивлению. А только отразившиеся тут споры – свидетельство не сомнения и тем более не разрушения, а отражение искреннего нетерпения молодой

веры, для которой Новый Завет никогда не станет Ветхим, а Христос будет приходить с каждым новым человеческим сердцем все тем же вопрошателем, несущим не мир, но меч в каждое равнодушно-неинтересное сознание. Ведь «Путь, Истина и Жизнь» – это не последовательные ступени обретения покоя, а всегда прежде всего *Путь* и только тогда Истина и Жизнь. А как успокоился, как показалось, что «нашел», так уж жди, что и вокруг все выцветет и помертвеет.

А самое тревожное, что монастырь-то – вот он! Знаменитый, на всю Россию известный. И «герои» в большинстве

еще спасаются там и тем спасают и нас. Вначале думал переименовать и саму обитель, и «героев» – как-то безопаснее. Назову, скажем, «Где-то в России» и тем и «типичности» прибавлю, и себя загорожу от неизбежного церковного гнева. А оказалось, что литературой тут не возьмешь. Сразу ряженьем начинает отдавать, игрой. И все вроде то, да не то. Все мы видим мир по-своему, и каждый из «героев» скажет, что все было не так, и не узнает себя. Но мы ведь все с вами – только система зеркал, и нас столько, сколько людей нас видят. Все мы заложники чужого взгляда.

Это осколки *моего* зеркала, и что в нем отразилось, то отразилось в силу *моего* зрения и разума. И это ведь не портреты насельников монастыря, отцов и владык и моих товарищей. Это в известной и даже в большей степени *автопортрет* моей души, моего понимания мира, моей веры и моего неверия. А история и состоит из миллионов «я», каждое из которых буквой ли, запятой, междустрочным пространством говорит свою часть мирового текста. С тем и войду в невозвратную воду давних монастырских лет. А первую запись возьму из «прежней жизни», когда еще и дневника не было,

и не было в моей судьбе отца Зинова, а было первое настоящее удивление и первое переживание главного монастырского праздника. Я приехал тогда в гости к живущему на хуторе недалеко от монастыря прекрасному эстонскому художнику Николаю Ивановичу Кормашову, чтобы написать о нем. И раз уж дело было накануне Успения, то, конечно, сначала в монастырь.

До тысячелетия Крещения еще был целый год.

27 августа 1987

Изборские инструменталисты вооружают свои гитары (свет, усилители) на городской площади —

удерживать молодежь. Как у нас в соседстве с Троицким собором перед Пасхой: непременно кинотеатр «Октябрь» работает до утра и норовит показать самое «заманчивое» — какую-нибудь «Королеву Шантеклера», «Анжелику — маркизу ангелов», а то и «Фантомаса» — остановить молодой поток, который потом все равно в собор милицейский кордон не пустит.

Вот и тут ставят музыкальную ловушку. А народ течет мимо — к монастырю. Я пришел как раз во время крестного хода, когда образ выходил из проема Никольских ворот к Михайловскому собору. Цепи

мужчин сдерживали теснящуюся толпу. Уже горело много свечей. Образ установили на паперти между колонн, разделив монашеский и мирской хоры. Сотни свечей в ящиках все пополнялись, свечи текли по плечам к празднику. Там крепкий старик в застиранной рясе — не монашеского, а крестьянского ухватистого вида — брал их десятка по два и, сбив фитилями в одну сторону, обжигал, медленно поворачивая, оплавлял, чтобы потом фитили вспыхивали ровно и без труда, и, так приготовив, тушил и опять клал до срока в ящик. Дети толпились на ступенях и весело глядели вниз, где плыла река свечей

в руках молящихся. Младенцы спали на руках и в колясках. Уставшие приседали кто где прямо на траву. Зажглись прожектора, и акафист пели уже при совершенной ночи.

Помазание, как обычно, повлекло народ к главному образу, но потом нетерпеливые разошлись к другим иконам в разных местах двора, приложились и были помазаны там. А у чудотворного Успенского всё шли и шли по тесному переходу взявшихся за руки монахов и прихожан и крепкие, и хворые. Отец почти на себе тащил скрюченного полиомиелитного сына, чтобы тот мог приложиться, и потом так же

обратно нес на себе, и лицо было спокойно, привычно к муке и беде. Одержимая баба высоко и не людским каким-то голосом звала Зину, потом кричала невнятно. Ее успокаивали и отводили от образа. Шествию не было конца. И кто-то уже устраивался в поредевшем дворе ночевать прямо на травяном (цветы разобрали верующие) пути Богородицы. Я поставил остаток свечи к другим, пылавшим на ограде Никольской церкви, и спустился на «кровавый путь». Там над Николой в Богородичном ряду тоже пылали сотни свечей, и бабушка, глядевшая за ними, все спрашивала: «Ну где

фотограф-то? Обещал снять меня, я готовая». Из тьмы проем был светел и тепел, по-домашнему уютен и праздничен. Расходились уже под звездами, весело, в чаянии завтрашнего дня.

28 августа 1987

Чуть сеется мелкий дождь, но служба у образа (теперь он стоит рядом с собором, внизу) продолжается непрерывно. В Михайловском соборе ждут владыку. Я пробиваюсь поближе и тоже жду, волнуясь. Наконец ровно в десять двери отворяются, и он, в митрополичьем плаще и скуфье, выходит под гром хора «Исполла эти,

деспота!»). После благословения начинается чудо облачения – вон с себя дорожное платье до белой светящейся, текущей до пят рубахи, и все вновь: изящество, сила, покойная красота, значительность обряда, где всему – поручам, поясу, епитрахили, набедреннику, митре, даже, кажется, большому гребню – возвращается первоначальная иерархическая и метафизическая значительность.

Молодые иподьяконы легки и бесшумны, движения владыки безупречны, хор высоко и сильно именуется символы, молитвословные знаки каждого предмета. Владыка служит опрятно, ценя музыку жеста

и голоса, текста и смысла, а наместник архимандрит Гавриил — тот грубо и просто, как командует носильщиками на вокзале, зато отец Иоанн Крестьянкин даже, кажется, и не служит, а живет готовно-весело, с сердечной деревенской любящей простотой.

Я выхожу во двор. Богородица возвращается к Успенскому собору. Дорожка опять свежа и убрана цветами, и народ почтительно стоит по сторонам, но, когда икону берут на плечи и она поворачивается лицом к пути, люди не выдерживают и кидаются на дорожку, чтобы подойти под образ. Девушки, готовившие путь, мечутся и просят

сойти («Это не для вас, это — для Богородицы»), но их уже никто не слышит. Теперь это первое — подойти под образ. Я встаю вместе со старушками (монах впереди командует: «По четыре, по четыре в ряд!») и с неясной тревогой гляжу, как образ медленно плывет на меня. Мужикам тяжело, толпа теснит их и сбоку и спереди, тем более что каждый, подходя под образ, норовит поднятой рукой коснуться стекла, как ризы Богородицы, и тем тормозит ход. Тесно, глухо, тревожно внутри. Я тоже касаюсь стекла и думаю о Викторе Петровиче и Марии Астафьевых (оба болеют): «Помоги, Пресвятая Владычица».

Образ проходит и останавливается у кованой иконы Корнилия. Скоро выходят из собора духовенство и молящиеся и тоже идут к образу, чтобы потом уже двинуться к Успенской церкви, где служба продолжается. Опять акафист, и колокола гремят весело, слаженно, все сразу, покрывая пение хора во всю службу, опять внятно и нежно, как молитвенное восклицание «Вот я, Господи!», заливают монастырь, свечи потрескивают от мелкого дождливого сева.

А это уже после празднования тысячелетия Крещения.

21 октября 1988, Печоры

Остановился в келье игумена Зинона. Потом ладили чай в его серебряном чудном самоваре, какого и у Семена Гейченко нет. Отец Зинон показывал свои келейные иконы, выхваченные у наместника Гавриила с грузовика, – «в дрова отправляли». Среди них иконы XVI–XVII веков, замечательный походный алтарь-складень, «Неопалимая Купина», деисусный «Златоуст и Василий Великий».

– Гавриил вообще человек для жития: клубнику запретил пропалывать, чтобы братия в грядки не ходила, траву тут не косил, и все

пошло дичать, яблони подрезал в цвету, и вот — ни одного яблочка. Колера при ремонтах все сам составлял. Поглядите вон: синий, оранжевый, желтый — все бьют по глазам! Деревьев поубирал тьму, и вот эти у колодца были обречены — не успел. А камень покрашен зеленым, чтобы паломники не кололи на молитвенную память, — сразу будет заметно, и можно обличить. Говорят, тут первые насельники молились.

Вышла было луна, высыпали звезды, проплыл спутник, но скоро потянул сильный ветер, и все затмилось. В братском корпусе идет спевка хора, перекрывающая ветер.

Лист, на мгновение притворившись живым, метнется по дорожке, увлекая взгляд, но, только его увидишь, он опять недвижим (последние забавы осеннего ветра).

23 октября 1988

Проспал раннюю обедню в Успенском храме, да и отец Зинов не советует: бесноватые помолиться не дадут. Пошли с ним в Никольский храм, а там к соседнему Корнилию и в Покровскую церковь... Тут всё еще в начале: варианты фресок пробуются прямо на стенах, тут и там лики воинов, святых, Архангелов – как наброски на полях или бессознательно начерченные

рукой портреты на чистом листе, пока мысль занята другим, – проба пера.

Были и еще приезды, но пока еще больше глядел, и рука не тянулась к перу. А жалко – там проклевывался настоящий росток, и всё потом виделось бы вернее, но кто же из нас вдаль заглядывает? Живешь и живешь. Слава Богу, потом уже с тетрадью не расставался.

9 января 1989

Приехал в Печоры в начале второго. Дверь в мастерскую закрыта. День разгулялся, солнце,

ветер, весна. Пришел батюшка. Едва я устроился, явились славильщики и густо, как городовые на картинах Перова или Маковского, спели «Рождество» и «Дева днесь». Пока они кричали, батюшка торопливо перерывал стол, потом сунул по десятке в конверты и вынес с благословением. Потом я разбирал книги, привезенные Олесей Николаевой, — весь Шмеман, архимандрит Киприан, Николай Афанасьев, Константин Леонтьев. И пока я смотрел, по дому всё шли, говорили, спрашивали...

Скоро и вечер. Пели вечерню в келье с Алешей и Кликушей, потом сели за ужин «без утешения».

А стоило отобедать — явилось и «утешение»: пришли отцы Анастасий (келарь) и Таврион (библиотекарь) с коньяком, шампанским, икрой и «царской селедкой» — форелью в банке. Рождество — как без «утешения»? Говорили о русском пьянстве (о чем же еще за коньяком-то?), писателях Шапошникове, Честнякове. Отец Таврион — костромич и в прошлом журналист, вот и разговор о писателях да костромских гениях.

Подъехал архитектор Александр Сёмочкин. Он будет строить на Святой горе храм Всех Печерских святых. Заспорили о Шмемане. Отец

Таврион, как кажется, против шмемановских литургических правил и, улыбаясь, говорит, что вот живущий по Шмеману молодой костромской священник решил применить на практике его евхаристические требования (причащение за каждой литургией всех молящихся), но кончилось все общими ссорами, а сам батюшка как-то по дороге из храма домой пал и чуть не помер. Хорошо, его нашли чуть живого случайные бабушки и привезли на санках.

Отец Зинов:

— А не надо быть дураком и сразу кидаться в переделку, тем более с нашими бабушками.

Послушник Алеша, все время натываясь на что-нибудь интересное (а ему пока все интересно — от неожиданного образа, красивой книги, хоть закладки), восклицает:

— Ух ты! Батюшка, а мне дашь?

— Чего тебе? Чего тебе? Молчи!

На, больше не проси! — сердито по виду, но внутренне нежно бормочет отец Зинов.

А Сашка Кликуша — тот все хочет быть умнее и расторопнее себя. И смеется, когда говорят простое: «Эх ты, как я не догадался?» — и, смеясь и радуясь, рассказывает о Кипре и Америке, где мальчиком жил с родителями при посольстве, а потом искал

правду до двадцати одного года, был уже и наркоманом, и к буддистам ходил, а вот победила наша Церковь – такая открылась ему сила в обряде, даже в самом только виде кремлевских храмов («это тебе не баптистские пустяки, это – серьезно»). И вот четыре года в монастыре, помирил и повенчал уже почти разошедшихся родителей, которые снова обрели друг друга.

– Нет, батюшка, я не подвижник, чтобы спать шесть часов, я не приду на утреню, тем более потом мне на раннюю литургию идти. Нет, мне надо восемь часов спать, не меньше.

– Совсем с ума сошел. Куда тебе

столько? Остальной ум заспишь. Не будет с тебя толку. Вставай давай, читай повечерие.

Горит лампада, давно ночь, звезды глядят в окно. Свет свечей колеблется на ликах Эммануила, Богородицы, Иоанна Богослова. Я шепчу Сёмочкину: «Как трудно, Господи!» И он понимает, о чем я: «Да, и мне тут так хорошо, никуда бы и не уезжал». Для таких дней и этого покоя живет человек. А потом как?

Сплю я на печке, проворочался до начала четвертого. Встаем. Батюшка как лег с другой стороны печи, так, кажется, и не поворотился ни разу:

— Как спали?

10 января 1989

А что мне сказать? Полено под головой еще не по моим подвигам; скимни рыкающие, скнипы и песни мухи – вот и все видения.

– Ах ты, горе какое. Теперь и не уснете – у меня днем проходной двор.

Приходят Алеша, Саша – начинаем утреню до половины седьмого, и по окончании, видя, что мне уж и не уснуть, отец Зинов сыпет подарки – пластинку старообрядцев, крест Кирилла Шейкмана, дивный том «Искусство 1000-летия», лампаду, отлитую

Георгием по древним образцам. К восьми приходит Олеся Николаева, и под их воркотню я все-таки на час задремал. Потом сидим с Олесей и Сашей Сёмочкиным. Она рассказывает о Париже, о смерти Даниэля, о приезде Синявского, о дикой тяжести московской жизни. Спрашивает у Сёмочкина: что делать, куда идти, на что надеяться?

Александр свое: что писал Горбачеву, что зеленая и с Богом земля дороже мертвой и с бесом. И тут же чертит программу: земля крестьянам, очищение природы, расселение из супергородов, народные центры вместо

навязываемых американцами Диснейлендов. Бог знает отчего (не от слишком ли жесткого пересказа?) мне в идее мнятся русские художественные резервации сродни индейским: хочет добра, а выглядит странно.

Смотрю библиотеку игумена Тавриона. Он тоже склоняет меня от «беллетристики» к пересказу житий, к защите Печерской обители от обвинений в сотрудничестве с немцами:

– Ведь здесь в пещерах стоял наш передатчик, и отсюда работал разведчик, который еще жив, в Москве, и был тут недавно.

Читаю Константина Леонтьева

«Отец Климент Зедергольм»
и радуюсь, как там дивно
о Хомякове: «Разговаривал он
с безбожником или иноверцем,
он был вполне православный,
но начинал беседовать
с православным, то как только тот
два раза подряд сказал ему „да“,
Хомякову уже становилось скучно
и ему хотелось сказать: „Нет, нет,
совсем не так“».

Какая русская черта! И что-то
тут мелькает от батюшки.

...Оказывается, в великопостной
молитве «Господи и Владыко живота
моего» у греков следует: «дух
праздности, любопытства, уныния

не даждь ми» и т. д. У греков указывается на источник — любопытство, у нас предпочли указать на результат, говоря о «любоначалии и празднословии».

Отец Зинов:

— На самом деле в этой молитве еще больше разночтений. У старообрядцев в следованной псалтыри «дух праздности, небрежения, празднословия и сребролюбия отжени от меня», а не «не даждь мне», как у нас. Разве может Бог давать праздность и уныние? Я всегда читаю «отжени».

Вечером сидели за чаем с отцом Зиновом и Сёмочкиным. Было хорошо и особенно уютно

под страшно разгулявшийся ветер.

11 января 1989

Спал опять плохо и мало — все неловко, боюсь разбудить своей возней. Тем более батюшка сказал, что голова не варит, простужено горло, и он лучше сейчас приляжет, а встанет пораньше, но чтобы я не вставал, а слушал утреню «по немощи» лежа, раз вчера не спал. Я вздремнул и встал около двух, читал. В три встали на утреню. Алеша спит стоя и на кафизмах норовит привалиться на бочок, пока батюшка с гневом не оборачивается. На псалмах язык у Алеши заплетается, и он читает все тише,

пока не говорит: «Тебе подобает пень Богу!» Батюшка, не поворачиваясь:

– Во-во, пень. Пень ты и есть. Спит он тут. Вот скажу благочинному, чтобы прислал пономаря, а ты спи – зачем ты мне такой нужен! Вот горе-то.

В начале седьмого они уходят служить литургию под батюшкино ворчание в Лазаревский храм. А я приваливаюсь на лежанку и забываю, что под головой полено, до девяти часов. Потом опять читаю Леонтьева (как он современен в препирательствах с отцом Климентом о католичестве, свободе веры, интеллигентности). Текст

попал словно в развитие вчерашних вопросов рыжего помощника отца Зинова, Вадима, к батюшке о границах православия. И о том, можно ли причащаться у католиков и старообрядцев, и как быть с интеллигентностью. Поэтому я кричу из-за печи: «Ва-ди-им, вы слышите? Это про нас!» Вадим смеется: слышу, слышу.

13 февраля 1989

— Всякая страсть подлежит искоренению, либо свободной волей здесь, либо мытарством — там. Бог никого наказывать не будет — сами пройдем должный путь. Это все прописи. Их скучно слышать. Даже

священникам уже скучно читать Евангелие. Им тоже надобно что-нибудь «для чесания уха», как писалось в славянских книгах. А Истина все равно остается только в неисчерпаемой Книге, и она постигается терпением. А мы ищем йоги и буддизма, чтобы плоды были тотчас, мимо тяжелого естественного пути.

...Рублев – автор «Троицы» в том смысле, что он освободил пространство перед трапезой, чтобы всякий из нас мог становится собеседником Ангелов. Поэтому нет ни Сарры, ни Авраама, ни быта, а есть Откровение и беседа... Это было высокое богословское

прозрение, а не художественное решение. Поэтому он мог подписать икону.

...Небосвод медленно идет по кругу. С вечера стоявшее в кроне дуба созвездие Медведицы утром ушло к оврагу, и в кроне поселилась Северная Корона. Луна заметно прибавилась, и батюшка в который раз вспомнил, что надо бы слазить на чердак за телескопом. Когда звонят к вечерне, первая звезда дрожит от звона и сама звенит чисто и ясно.

14 февраля 1989

— К XX веку икона почти

умерла. Воцарился академик Фартусов с его мертвыми прорисями. Когда забывает себя вера, забывает себя и икона, и даже зорким умам византийская школа уже кажется дикой и варварской. Ложная красота вытесняет живую аскетику. Греки окружали икону на службе и славили и величали ее без нашей нынешней резвости. Мы и сейчас кадим ее с четырех сторон, но уже не помним смысла — что мы тут не картине и символу предстоим, а Богу в непостижимой полноте, свидетельству служим, Евангельскому слову кланяемся.

Старухи говорят: «Чему вы нас учите? Мы вот и шестьдесят лет

назад молились, а таких икон не было. В старину было иначе». И для них их старина уже единственная, а подлинную они не узнают, как не узнают в унисонном пении древность, более почтенную, чем воспоминания их детства.

...Епископы — серьезное испытание для Церкви. Когда умирает их учительность и вместо живой иерархии и умного порядка молитвы в епископе является только дисциплина, только буква, то народ начинает искать правду в юродивых, домашних прозорливцах — в самодеятельности.

Читал митрополита Антония (Блума). Какие у него замечательные примеры из Григория Сковороды, что нужное не сложно, а сложное — не нужно. И как чудно верна смешная для нашего слуха, но глубоко верная для духа Церкви подслушанная однажды владыкой рекомендация африканского священника, когда он представлял своей черной общине белого миссионера: «Не смотрите, что он бел, как бес, зато душа у него черная, как у нас».

15 марта 1989

Девяностолетний отец Николай внимательно глядит во время канона

в Лазаревском храме на отца Зинова, пытается уловить смысл и не может, и забывает руку в начале крестного знамения. Или в середине его. Плачет в унисон – «шестым гласом».

Отец Анания докладывает о готовности к службе, прикладывая руку к скуфье – старый вояка. И все жалуется на боль в желудке: раньше пять бутылок кагора выпивал – и ничего, а теперь в восемьдесят лет полбутылки – и уже маюсь. С чего бы это?

Вернулись в келью и тут же, словно намолчались, заговорили сразу и обо всем.

– Да кто будет принимать эконома всерьез, когда он может

залезть на поленницу и дразнить оттуда быка! Дети. А вернется Гавриил, этому бедному эконому непоздоровится за то, что слишком быстро переметнулся к владыке Владимиру.

И славит, славит любимого Диогена Синопского за разумность суждений и за близкую сердцу независимость. Хоть вот за это: когда Александр Македонский пригласил Диогена к себе, тот ответил, что от Синопа до Македонии ровно столько же, сколько от Македонии до Синопа: может, самому Александру нетрудно прийти, раз есть нужда. Умному Александру достало разума сказать,

что если бы он не был Александром, он был бы Диогеном.

...Он знает античную и европейскую мысль, знает, что Евангелия написаны после Платона и Сократа, после «Лисистраты» и «Лягушек», после Сафо и Катулла, но сердцем и духом так же знает, что все Евангелия – «до», ибо написаны в вечности, и теперь уже навсегда все Сафо и Катуллы, все Сократы и Аристофаны будут потом, после, и Церковь усыновит их.

– Сократа и Платона не зря писали в притворах православных храмов, потому что они прообразовывали Христа, были

крайним пределом, до которого может прийти мысль в самостоятельном, дохристовом смысле.

...Вы хлопчете о своем религиозно-философском обществе, другие о славянском, историческом — кто о чем. А по мне, надо бы объединяться только в литургическую полноту, а уж она своим великим единством скажет больше хотя бы и очень правильных слов и светских объединений, ибо содержит все. Вот и думаю, что, может, ваше общество и хорошо, а все-таки разумнее истратить силы на то, чтобы вызволить еще один храм и постараться вдохнуть в него

настоящую первоначальную жизнь без тщеславий и честолюбий владык. И ненароком, почти шутя, но с настоящей горечью: «Господи, как я не люблю попов и монахов. Да – и монахов!»

5 мая 1989

Приехали в восемь утра. Зашли в Успенский храм. Отошла ранняя. Пахнет нечистой бедностью, старым тряпьем. Клирос бедно, как-то изношенно поет праздничное «Христос воскресе» к Причастию вместо будничного «Тело Христово примите». Ребятишки идут от Причастия. Самый малый сует ковшик ладоней под благословение

служившему батюшке и, поцеловав крест, бежит за просфорой. Тут они садятся под Богородичный образ и уминают эти просфоры, не замечая, что их задевают, поталкивают прикладывающиеся к образу и не замечающие детей старухи. Но, Господи, как скудны лица этих старух! Совсем другое христианство, чем где-нибудь в московском Воскресении Словуцем, и им действительно не нужны заставленные киотами фрески XVI столетия. Старухи стояли тут всегда, отражаясь в стекле привычно темных образов, и «новшество», хотя бы такое старое, как фрески XVI века, только

ожесточает их душу.

Когда я сказал об этих «разных верах», Владимир (из бывших вгиковцев) вспомнил, как один питерский батюшка говорил, что «платочницы» всегда не любили «шляпниц» (бабушки, которые носят на службе платочки, – бабушек, которые носят шляпки) и считали, что «платочная» вера «крепше шляпошной», хотя питерские «шляпницы» свою веру вносили в блокаду и по лагерям и ссылкам, часто устремляясь туда за сосланными архиереями.

Вечером мы собираемся в Тарарыгиной башне. Приходит игумен Таврион и ворчит:

«Подлинно — спускаясь в преисподняя земли», потому что лестница срублена вертикально в наше узилище без окон с трехметровыми стенами.

Я вспоминаю желание Валентина Григорьевича Распутина приехать причаститься без исповеди — трудно ему пока преодолеть этот порог, как и всем нам в первые лета. Батюшки затевают короткий совет: возможно ли? Таврион вспоминает, как часто на исповедях особенно женщины говорят, что не грешны ни единой мыслью. Вот его родная сестра в Костроме долго не могла понять, что унесло его в монастырь.

А он и не объяснял, пока беда не довела ее до понимания самостоятельно.

— Все, говорит, заглядывала в Евангелие, которое ты оставил, но все откладывала — чужое все и непонятное. Пока не случилась операция у дочки и не заболел муж. Открыла после беготни по больницам, и как огнем ожгло: это же про меня. Поглядела, как надо молиться. «Отче наш» выучила, и, что ни попрошу, все мне дается. И, помнишь, ты меня раньше спрашивал про грехи, а я говорила: да откуда, что вот, мол, я и в автобусе никого локтем не отодвигала, а все, мол, только

меня? А теперь только начни перечислять — и на день хватит, и назавтра останется... Так что, может, и у Распутина не сразу.

А отец Зинов вспомнил из своих знакомых владыку Серапиона, который сравнивал исповедь с омовением, а причастие — с трапезой. Бывает, говорил, когда крестьянин придет с поля и если не поест, то и умыться не сможет. Вот, может, и у Распутина так: причастится, и, глядишь, душа откроется покаянию, потому что без него ни в отдельной душе, ни в стране ничего не переменится.

Скоро своротили на свое — как возвратить красоту в Церковь

и что есть полнота красоты.

Отец Зинов:

– Все эти смешанные хоры, эти боги отцы на иконах, эти картины вместо образов так всё и будут оставлять на своих местах.

Отец Таврион:

– А как же вот, например, с отцом Иоанном? У него своя красота – умилительная, с цветочками. Да и другие ведь молятся и радуются.

Отец Зинов:

– Да чему молятся-то? Вон наш благочинный Александр каждый вечер прикладывается к какому-то толстому младенцу на стене. Для него это Спаситель.

И Богородицы – как девки в деревне. Какая это вера и во что? И чему она научит? Поэтому у нас все так и съехало, что каждый сам себе Типикон, каждый выбирает, что ему по сердцу. Александр мне говорит: ты как благословляешь? Я показываю – вот, двоеперстием. Он прямо в крик: когда бы я знал, я бы епитрахиль скинул и бежал из алтаря. Ну ладно. Я для него переучился. А показываю ему в соборных постановлениях запрещение изображать Бога Отца – не глядит и слушать не хочет. «Народ привык». Так мало ли к чему народ привык!

Отец Таврион:

– Не согласен. Надо ведь по немощи человека помогать ему, попонятнее делать догматы-то, апостольское слово проще переводить, чтобы к каждому шло. Так и в изображениях – так человеку роднее.

Отец Зинов:

– Так вот и дошли: человеку, человеку, а надо бы наоборот – Богу! Богу! Не вниз надо, а вверх, а это труда требует. От всех. И от меня, и от бабушек. А мы – себе одно христианство, им другое. Без требования ничего путного не вырастет.

Тут же вспоминает мальчишек в церкви, всех знает по именам:

это Пашка, это Ванька следом за дьяконом «Верую» дирижирует, ко мне десять раз на дню бегает, а вырастет – и в храм не затащишь.

Игумен Таврион рассказывает, как приезжал кандидат перед выборами голоса набирать.

– Горбунов, кажется. Поговорил, волнуется, спрашивает нас – чего надо. Ну, мы ему все: и про то, как детей воспитывать, и как храмы открывать. Потом спрашиваем: сам-то крещеный? Крещеный, говорит, и крестик золотой есть. А детей не крестил. Нельзя, член партии. Да и почитать негде про это. Библии нет. Тут Евлампий к нему подошел, дергает его за рукав: «В храм надо

ходить! В храм! И детей водить. И людей звать. А то не выберем тебя, и делай что хочешь». Потом подарили ему Библию и проводили. Он уходил и все удивлялся, что мы говорим совсем как люди и у нас все понятнее и проще, чем было на его собраниях. Беда с людьми – до чего довели кандидата.

Когда архимандрит и игумен уходят, из тьмы возникают два Георгия, потом Владимир, Кликуша кричит сверху «Христос Воскресе!» – и спор о вере кипит еще жестче, и он тут, во тьме (свечи нагорели и меркнут), кажется удивительно уместен и подлинен. И Кликуша все сетует, что ему трудно канонарить

на шестой глас и хорошо, если бы его на Светлой седмице пропустили, потому что все равно ведь надо один глас пропустить – гласов на седмицу восемь. А ему шестой низок, и Тихон нарочно дает ему низкий, чтобы его, Кликушу, оконфузить. (Тихон был упомянут и отцом Таврионом: «Такие выбирает песнопения – опера, да и только, и не знаешь, куда глаза девать, как в дискотеке. Я хоть в знаменном пении и не понимаю, но когда пономарь один ведет «Да исправится молитва моя», то я стою как на небе. Он ведь и должен вести один, а у нас смешанным хором заведут, и это как-то во вред и не по правилу.)

6 мая 1989

С утра прохладно, но прислонишься к стене кельи и уже чувствуешь, что она потеплела от поднимающегося солнца. Заря алеет сильно и чуть глухо, сипловато, как наш плачущий по великому игумену Корнилию надтреснутый колокол, но без тревоги. Зяблики поют, скворцы, черемуха облаком встает в овраге, сквозь набирающие силу клены. Бабушки уже сходятся к Успенскому храму, зябко и мелко крестятся — и скорее в тепло. Еще особенно тихо, и очень слышны шаги, покашливания, словно двор собирает звуки. Подходит батюшка,

посмеивается над моей бессонницей в Тарарыгиной башне – «туда раньше на исправление и покаяние посылали».

– Ну, мне это как раз и надо.

Ударяют к литургии, и кажется, вишня в саду именно от звона медленно роняет цвет. Галки было взнимаются, но потом садятся и спокойно слушают радостный трезвон. У нас уже умолкли и уже отец Иоанн возглашает «Благословенно Царство!», а за оградой у Сорока мучеников еще звонят – весело, переливчато, по-народному, как частушки отрывают. Часы у них отстали или хотят порадоваться своему звону

без помехи монастырского.

Отец Иоанн служит высоко и отчетливо, с какой-то любовной каллиграфией. Недавний послушник отца Зинона Алеша – теперь уже отец Амвросий – дьяконствует первые разы и на «Верую» и на «Отче наш» еще не смеет поднять глаз на молящихся, дирижируя невпопад, сбивая общее пение. Выходит иеродьякон Стефан, подправляет уверенно, и храм разом собирается. И как хорошо уже перед крестом весь собор запел «Воскресения день, и просветимся торжеством!». Какие молодые чистые голоса, а ведь больше старухи поют. И невозможной любовьюю

мгновенно вспыхивает сердце, когда слышишь «и друг друга обьемем, рцем: братие, и ненавидящим нас простим вся Воскресением...». Так чудесно легко на душе, как давно не было. Всего миг, но как ясно слышна в этот миг вечность радости, догадка, что, может быть, ТАМ, если душа светла, – всегда так.

Днем уж как-то и не по-весеннему тепло. Весело посвистывает на солнышке самовар. Батюшка разливает чай. Отец Иоанн пришел, Саша, Володя, Ваня из близких и первых помощников. Сверстники, они всегда посмеиваются над балагуром Кликушей, а он рад и подыгрывает

всем, пугая, что вот затеет свой скит, запрется там, замолчит и они еще настоятся на коленях: «Скажи хоть словечко, а я ни гу-гу». Отец Зинов только качает головой и улыбается и тоже радуется дню: «Отца Серафима вывозил вчера, по солнышку поездили, а то уж у него и коляска заржавела. Колокола послушал, поплакал. Я ему пластинки со службой принес. Послушал, сетует: «Это уж очень... Мне бы попроще, наше бы, братское...»

Батюшка задумывается, забывает стол, и это ушедшее лицо кажется таинственно наполненным, будто душа его видит в этот час что-

то неведомо значительное. Он, может быть, просто отдыхал до вечерней службы, и как раз и мыслей особенных не было, но именно оставленное без определенной заботы лицо и сказало свое главное содержание. Мы-то без присмотра себя оставим, так там такое начертится, что и в зеркале себя не узнаешь — пустыня.

20 мая 1989

Собрался в монастырь Всеволод Петрович Смирнов (архитектор, реставратор, кузнец, восстанавливавший монастырь вместе с покойным настоятелем

архимандритом Алипием). Ну и я не утерпел.

Батюшка выносит в корзине совенка.

— Мать поди выбросила — не прокормить. Знает, что у нас не пропадет. Когда Амвросий поднимал его, так мать, говорит, глядела.

Совенок глядит с человеческой терпеливой внимательностью, как дети, — прямо и спокойно.

Говорили в саду о том и о сем — о будущих кованых паникадилах и лампадофорах, о «карманах» над сёмочкинскими закомарами (поставил уже Александр Сёмочкин на Святой горе храм Всех Печерских

святых, до крыши довел), куда будет набиваться снег, о водостоках, которые надо бы выносить подальше. А яблони доцветали и от порывов ветра летели молодым снегом. Напоминала вдруг о себе криком сова, которую я не слышал тут и ночью, — то ли звала своего совенка, то ли нам говорила, чтобы не забывали ее дитя.

21 мая 1989

А сегодня я приехал в монастырь с писателем Володи́ей Личутиным. Говорят, он уже пишет свой «Раскол». Естественно, что на службе вечером ему все интересно, и он вертится, стараясь

понять все сразу.

А я, забыв о нем, был внезапно потрясен, когда отец Иоанн Крестьянкин вывел на литии весь строй русских молитвенников со всею интонационной каллиграфией его, Иоаннова, служения: «...всея России чудотворцев Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и Ермогена, преподобных и богоносных отец наших Сергия и Никона, игуменов Радонежских, святых благоверных князей Александра Невского, Димитрия Донского, Серафима Саровского, Нила Сорского, Никандра Псковского...» – и с каждым новым именем они незримо и явственно

вставали вокруг. И я вдруг почувствовал близкие слезы, но обрадовался им до того, как они пролились, и, по обыкновению, погубил чувство удовольствием размышления. Но это краткое восстание российских святых раздвигало храм до пределов России, и опять можно было забыть значение слов «одинокчество» и «сиротство». Опять это было из тех дорогих крох, которые, слава Богу, собираются понемногу в моем бедном духовном опыте.

К вечеру потянулся откуда-то дым, все засинело, воздух стал горчить. Солнце садилось медленно и зеленую крышу батюшкиной

мастерской наливало той же красной медью, что и храм Сёмочкина, словно они ревниво переглядывались и оспаривали старшинство. Заснул поздно и проспал начало ранней.

22 мая 1989

Пришел уж на Апостола. Храм и так тесный, а сегодня Никола. В этот день и в просторных-то соборах яблоку негде упасть, а тут уже и на паперти не протолкнуться! Чуть дотянулся до порога. Батюшка служит с удивительной мистической полнотой, и иногда я остро чувствую, что мы стоим в разных храмах и мне в его двери пока нет, а он в мой позабыл дорогу (да и бывал ли

в моем-то?) и, может быть, и не видит меня здесь. Но он-то открыт, его-то храм сияет, и мне путь ясен, и самому надо выбирать, идти или не идти, – на таких порогах уже не спускаются, чтобы вести за руку, – тут час последней свободы выбора.

В Никольском начинается акафист святителю Николаю, а в соседнем Корнильевском (дверь меж ними открыта, и в проеме толпится народ) – панихида, и «Радуйся, красото...» мешается в хорах с «Со святыми упокой...». Можно было бы сказать, «как в жизни», но вчера я прочитал у японцев: «Стократ благородней

Тот, кто при вспышке молнии не скажет: вот наша жизнь!» — и не скажу, а только, устыдясь ординарности мысли, все-таки подумаю.

Совсем тут не городские прихожане. Там ведь отошла служба — и домой, а тут они почти живут, удобно и основательно. И вот уж насколько я нечасто бываю здесь, а непременно застану по-хозяйски располагающуюся в храме цыганку в сверкающих обручах на плечах и таких же браслетах на обеих руках. Кофта непременно украшена всеми значками из иконной лавки, а юбка — как алое знамя, и убрана по подолу ниткой белых бус. Старая уже

цыганка. Сверстницы непременно не утерпят пустить вслед: «Вырядилась, стыда нет...» А она будто и не слышит, головы не повернет, легко и упруго кладет поклоны у близких душе икон, будто с благодарностью обходит зрителей после танца. Батюшка потом: «А это Неонила, знаю – оттуда-то с Украины. Она часто тут».

Или выйдешь из храма, а тут нищий на обрубленных по колени ногах, и он на этих обрубках как-то ходит, кричит наверх старому монаху за стойкой иконной лавки: «Ладно, давай какой есть!» – «А нитку-то дать?» – «Не надо. У меня ведь свой-то крест на мне. Это я не себе,

а вдруг придется ночевать в некрещеном доме — поднесу». И, веселый, радующийся утру, волочится к храму встречать выходящий народ и, как должное, принимать милостыню — с шутками и непременно сказанным кстати словцом. Тоже ведь Россия, и Россия старинно-надежная, умеющая духовно пустое время мимо ушей пропустить.

После обеда пришел отец Таврион, и Володя тотчас взял его в оборот: как монахи приветствуют друг друга, каков чин пострижения — и как-то между делом обмолвился, что не крещен. И тут уж мы взяли его в оборот. Отец Таврион тут же

припомнил несколько притч к случаю, одна из которых показалась мне особенно хороша: о художнике, который в понимании красоты от портрета постепенно взошел к иконе. Чем более он глядел в лик Христа, тем отчетливее видел, что тут тайна, что он только у порога, что светит что-то в глубине, а что — не увидишь, будто старые картинки под папиросной бумагой, и бумаги этой поднять нельзя. Ну, тогда ему священник в деревне, куда они заехали со своим московским товарищем, и говорит, что дальше-то можно увидеть только после исповеди и Причастия. И точно: потом живописец этот,

сияя, все благодарил священника и все возбужденно говорил, что да, да, увидел. Что уж он там увидел, улыбается отец Таврион, не знаю, но видно было, что увидел.

Но суть-то не в нем, а в его товарище, который тогда тоже пожаловался священнику, что скучно и однообразно жить, что уж перепробовал и йогу, и буддизм, и художество, и в православной церкви настоялся, а — нет. Ну и ему был тот же совет — исповедаться и причаститься. Они вместе с художником в этом деревенском храме и стояли. И утром прозревший-то художник счастливо спрашивает товарища: «Хорошо

тебе?» И друг отвечает: хорошо, а сам, как потом вспоминал: не знал, куда глаза девать, потому что нехорошо ему было. И стена алтарная как стояла, так и стоит — не пробиться за нее. И главное, я, говорит, будто чувствую, что и с той стороны кто-то ко мне идет, а стена алтарная — все стена, и такая тоска. Вернулись в Москву, иду, говорит, по Калининскому проспекту по этим архитектурно безобразным «книгам беззакония», а небо синее и дымкой молочной чуть взявшееся, и вдруг как-то само собой сказалось: «Отче наш», и я, говорит, даже остановился от слез. Вдруг понял — Отец его слышит; почувствовал как-то —

слышит! И Отец не мой, а именно наш, всех этих людей, которые в машинах и без машин несутся куда-то сломя голову назад и вперед. Сказал и вторую строку – «Да святится Имя Твое!» и еще сильнее заплакал. Стыдно, пришлось в подземный переход сойти, чтобы люди не видели. Иду вниз, а сердце будто наверх идет с каждой строкой. Скажи кому – на Калининском проспекте...

В общем, за Володю всё решили. Вечером отец Таврион и крещальную рубаху к отцу Зиному принес, чтобы было в чем завтра в воды войти.

В библиотеке глядел
рукописные книги,

иллюминированные иногда чуть ли не через страницу. Что за чудо шрифты, скорописи, киноварные буквицы, орнаменты. Стало ясно, что книга должна быть рукописной, что это – молитва и труд, праздник и вера. Кажется, и слово совсем другое, хоть и знаешь наизусть. А попадались и невиданные, вроде канона Ангелу грозному (Иван Васильевич, говорят, сам сложил), где гроза и веселье рядом: «Дай, Ангеле грозный, весело встретить смерть!» И толстые, сытые немецкие Библии с гравированными на полях заказчиками, и учительные греко-латинские.

Отец Зинов отлеживался

с больной головой после ранней литургии. Часов в пять встал – говорит, здоровый. Я сходил на величание Кирилла и Мефодия. Когда вернулся, говорили об Аввакуме. На вопрос Володи, как он выглядел, батюшка принес репродукцию образа Кирилла Белозерского работы Дионисия Глушицкого (святой там – маленький столбик с большой головой). А потом образ того же святого с фрески Дионисия – эль-грековской, Дионисиевой длины и изящества.

– Вот вам и ответ на вопрос об Аввакуме. Оба эти образа одного святого для Церкви подлинные, а уж для литературы – не знаю,

там заботы не наши, не церковные. А кельи вы такой, как в Аввакумовы времена, не найдете, у нас можете не высматривать. Монастырь не тот пошел. Теперь вон и женщин в монастырях полно, а раньше не то что женщины, а и кто из мужчин границу монастыря переступал, там и должен был оставаться. Из любопытства сюда не заглядывали.

23 мая 1989

Проспал и раннюю, и начало поздней. Ночь проворочался, уснул только в начале четвертого и уж как встал, так пустился притворяться работающим. Читал да выписывал

разные чудеса из книг.

Батюшка до обеда не выходил.

– У меня гость – отец Арсений из Нового Валаама в Финляндии.

Днем мы с Володей были приглашены на чай. Отец Арсений, молодой, с порога близкий, уважительно рассказывал, как хорошо была проведена эвакуация Валаама перед Финской (все антиминсы, часть посуды, вся библиотека). Вспоминал свою поездку на Афон и смеялся, что теперь там на каждого насельника по зимней и летней келье в любом этаже, а то и весь зимний и летний этаж. В иконных мастерских умерли не только краски

в пузырьках с двуглавыми орлами, а, кажется, даже книги и иконы, приготовленные к отправке в Россию.

– В Финляндии Церковь живет за счет того, что при переписи населения в графе «вероисповедание» человек ставит либо «православный», либо «протестант» и так далее. И, соответственно с этим, отчисляет процент дохода, который идет на зарплату, равную и для священника в Хельсинки (произносит имя столицы мягко и, кажется, даже нежно), и в малом деревенском приходе.

Идем в пещеры. Володя

застревает в келье Лазаря – примеряет своему будущему Аввакуму вериги, тесноту, камень ложа. Потом долго разбираем в пещерах надписи на керамидах, за которыми лежат в пещерной стене Пушкины, Татищевы, Годуновы, Бутурлины.

Новое и опять сильное для меня и в открытом братском кладбище, и особенно в том закрытом – XV–XVI веков, куда надо вползать, протискиваться, обдирая бока. И там – еще вполне целые с торцов колоды XVII века, постепенно проседающие, перекашиваясь и теряя очертания, в колоды XVI века, пока постепенно все не слипается

В однородную массу и наконец не делается прах и тлен – тело земли, комковатое, вздыбленное, еще не обретшее покоя, но уже видно, что совсем немного – и все станет тем же песком, в котором эти пещеры вырыты. «Земля еси и в землю отыдеши» – очень наглядно.

Сходил к вечерне. Уже к закату пришел Кликуша – неузнаваемо тихий. Оказывается, батюшка наложил епитимью – «отлучил» на год «до укрепления ума», и Саша маячит в отведенной ему границе, на сто метров не приближаясь к келье, и ждет, когда батюшка пройдет, чтобы попасть на глаза

и поговорить. А батюшка все мимо и все бегом. Наконец Саша не выдерживает и, видя, что батюшка остался в келье один, вприпрыжку несется через «запретную зону» и исчезает за дверью. Возвращается минут через пятнадцать повеселевший: епитимья ограничивается Пятидесятницей, ну а раз сегодня преполовение, то остается двадцать пять дней — терпеть можно. Пострадал за язык — «тайну выдал врагам» по беспечности характера, как смеется Саша. Подходит отец Арсений. Спрашиваю о новом Валааме: сколько там теперь монахов?

– Восемь.

– А сколько было после эвакуации в тридцать девятом?

– Двести.

– Да отчего же так мало осталось?

– Умерли. Они же тогда купили дом и жили по три-четыре человека в келье. Как было думать о новых насельниках? А там умирали да умирали, и как-то уж привыкли не брать. Да и православных в стране, при том что службы по финским храмам не прерывались, делалось все меньше (расчетливый век брал свое) и сейчас – тысяч пятьдесят. И, конечно, монахов на это число надо хотя бы двадцать

пять (вот вам и процент, хотя, оказывается, что и всегда-то молитвенников за мир было один на две-три тысячи).

Долго не спали. Володя писал, не думая о завтра. Я читал канон к Причащению. И так почти без сна и перешли к утру.

24 мая 1989

Утро холодное, тусклое. Но видно, что день будет хороший. Звезд уже нет, но еще и света настоящего нет. Полчетвертого выходит из кельи отец Зинов.

– Слышите? Совы сипят. Может, и наш воспитанник там. И соловьи. «Соловьи монастырского сада,

как и все на земле соловьи, говорят, что одна есть отрада и что эта отрада – в любви». Это ведь Северянин здесь написал. Только про какую это «любовь» в монастырском саду он говорил, это вы у него на Небесах узнаете – там писатели-то, поди, вместе... А вы говорили – соловьев нет. Послушайте, послушайте. Наверно, для вас и стараются. Прохладно – как они там у нас будут? Тулуп возьмите, набросите потом.

Без десяти четыре выходим. У братского корпуса присоединяется отец Таврион. Привратник у нижней башни долго гремит ключом. «Ну, со Христом!»

Поднялись наверх. Луна низкая, огромная, красная. Отец Зинов вспоминает из японцев, что кто-то из них уподоблял ее спилу дерева – похоже. От реки по низине тянется туман. Нигде по избам ни огонька. Коровы лениво провожают нас глазами, не вставая. Соловьи, словно и правда в укор мне, показывают все, что могут.

Отец Таврион счастливо вздыхает:

– «Коль возлюбленна селения Твоя, Господи сил. Блаженни живущии в дому Твоем, в веки веков восхвалят Тя...» – Наклоняется, ведет рукой по траве: – Какая роса холодная. Как они будут...

Приходим на место. Машина питерская уже стоит. Окна в ней запотели, и нас не видят. Иду звать. Приехали Алеша Кузьмин, хороший столяр и плотник, много работавший по монастырям, и те, кто будут креститься с Володей, – Александр и девочка Ксения. Ставим на этюдник, прихваченный вместо престола, свечи, и зажигаем свечи в руках. Лица сразу преображаются от теплого света. Крещаемые босыми становятся на холстинное полотенце.

Батюшка обращается к алтарю неба, леса, зари, которая уже наливается алостью, и высоко, как к заре, поднимая книгу, чтобы лучше было видно мелкий текст

последования, начинает чин. Отец Таврион по требнику не то следит, не то укрепляет молитвы своим молчаливым молением. Потом, когда обращают крещаемых к западу для вызова дьяволу («Отрицаешься ли сатаны?»), отец Таврион отдает отцу Зинону свой требник с вставными страницами от руки написанного старого наставления, и отец Зинон читает о том, что сейчас они с воздетыми руками стоят, словно обыскиваемые Ангелами, чтобы не осталось ни единого тайного помысла, и помнят, что в этот час они составляют «завещание», умирая для старой жизни, и «завещание» это

зачтется в День Судный.

Все раздеваются и после освящения воды по одному идут в реку и троекратно погружаются. Девочке страшно, но она хоть и посопротивлявшись немного, но без писка погружается с головой. Потом стоят с гусиной кожей, уже в крещальных рубахах, на холстине и трясутся до самого препоясания и возложения крестов.

Вода шумит под мостом, и все мнится разговор, но, слава Богу, хоть все и идет, сокрытое от деревни только прибрежными кустами, никто не выходит, и обходится без зевак.

Одеваются все торопясь, путаясь в одеждах, возбужденные и веселые,

но еще не чувствуют от холода всей полноты совершившегося. Пока все собираются, я раздеваюсь и лезу в реку. Вода так холодна, что я только охаю и скорее на берег – догонять ушедших.

Нагоняю Володю и отцов на подъеме к монастырю. Луны уже нет, и с другой стороны встает такое же низкое алое солнце. Прошу благословения снять всех, и отцы становятся на фоне обители, серьезно и бережно по сторонам от Володи, как Христова стража. Спешим «домой». Подол мантии у отца Зинова намок и грязнится о пашню. Отец Таврион подхватывает край своей одежды

и семенит аккуратнее.

Через полчаса идем в Лазаревский храм на службу. Батюшка просит меня попономарить. Вздую кадило, выношу свечу, готовлю запивку к Причастию и в волнении сбиваюсь в исповеди, не успеваю как следует пережить свое Причащение. Раздаю просфоры и артос, несу больным отцам. Воздух в палате тяжелый. Один сидит в кровати, другой и головы не может поднять. Помогаю запить обоим, и они радуются: «Артосик!» Пьют мелкими неторопливыми глоточками, чтобы потянуть подольше: «Спаси, Господи!»

Перед отъездом пьем чай

с отцами Зиномом и Арсением, и я узнаю от отца Арсения, отчего не приехал к нам на тысячелетие Крещения Вселенский Патриарх Димитрий. Оказывается, был нарушен порядок мест в приглашении: первым был, естественно, Вселенский Патриарх, вторым – Иерусалимский и далее Антиохийский, Александрийский, Московский. А потом наши поставили Грузинского, тогда как по иерархии должен был следовать Сербский. И отказались менять этот местнический порядок, ссылаясь на то, что Грузинский Патриархат старше Сербского. На что резонно было замечено,

что он старше и Московского, но Москва остается на пятом месте. Так и не сошлись. И вот, чтобы не поощрять своеволие в дальнейшем, Вселенский Патриарх не приехал, как не приехал и Сербский.

— Сейчас, — закончил отец Арсений, — речь идет о новом Вселенском Соборе. И как там будут решаться живые, мучительные и действительно важные догматические вопросы, если не договорились в малом, — трудно предполагать.

Рассказывает и о порядке богослужения — как они в Финляндии постепенно ушли

от одного славянского языка к славянскому и финскому, а теперь уж и к одному финскому. Всего в нескольких приходах по разу в месяц богослужение ведется по-славянски и по разу в месяц – по-гречески.

Володя идет послушать последние батюшкины наставления. И скоро мы, благословившись, уже по полной жаре покидаем монастырь, проходим мимо цепких и уже привычных нищих. Они пропускают нас, потому что уже не по разу взяли и теперь отводят глаза, чтобы нам не чувствовать неловкости...

21 июня 1989

Вчера с Валерием Ивановичем (из старост Троицкого собора он скоро станет старостой нашего, Ивановского собора – Рождества Иоанна Предтечи, за который мы пока бьемся с разным большим и малым светским советским начальством) заглянули в храм Константина и Елены. Еще вчера он был молодежным клубом «Сталкер» со всей символикой таких мест, а сегодня, слава Богу, возвращается понемногу церковная жизнь. Служит отец Владимир Рубчихин (он будет метаться потом в поисках «настоящей строгости») и заглядывать к катакомбникам

и «истинно православным», пока не уйдет в Зарубежную Церковь, а в Константине и Елене будет служить брат Валерия Ивановича иеромонах Пантелеимон). Кажется, даже и кладбище обрадовалось и тоже стало потеснее к храму, чтобы слышать молитву.

Пока домой шли, повстречали отца Павла Адельгейма. Он долг с безнадежной светлой улыбкой (бывают и такие) говорил, что стоит на пороге того, чтобы отказаться от недавно переданной Мироносицкой церкви, потому что силы истощаются (батюшка после лагеря «за клевету на советский строй» на протезе, а в церкви

не присядешь – служба-то не зря зовется предстоянием), второго священника владыка не дает. Служить почаще нет никакой возможности, а другого способа заработать нет, и, значит, нечего надеяться и на то, что удастся собрать достаточное число денег хотя бы на обустройство отопления к зиме, не говоря уже о необходимости ремонта в обезображенном без службы храме...

...Решили ехать в Печоры поездом, и вроде только уснули, а уж в половине третьего надо вставать. Оказывается, я успел набаловаться – давно не ездил «третьим классом»

и забыл, что может быть такая затхлость, бедность, отчего сразу начинает казаться, что не спал уже недели две и время воротилось назад к послевоенной тесноте и общему чувству, что все снялись с мест и едут куда-то, где никто никого не ждет.

В Печорах, пока шли к монастырю, все туман, туман, парная мгла. Дорога идет через «тридцатые годы», время эстонской архитектуры (город с двадцать второго года до окончания войны принадлежал Эстонии), и все отдает «буржуазным прошлым» — опрятность и чистота.

Лазаревская

церковь,

где надеялся найти батюшку, закрыта. Пошел в Успенскую. Братия служит молебен Корнилию, потом поет «Царице моя Преблагая» у главного монастырского образа «Успения» и идет прикладываться — по двое сразу с двух сторон: три поклона, ступень к образу, касание губ, поклон образу, поклон братии, поклон друг другу и — к раке Корнилия, уступая новой паре. Потом за бабушками поднимаюсь к образу и я и тотчас вспоминаю, что, кажется, в тысяча девятьсот третьем году к нему прикладывался последний царь. Короткий укол этого поцелуя и невнятное, как запотевшее от дыхания облачко

на стекле иконы, переживание ускользает, не закрепившись. И образ, и рака тонко пахнут кипарисом, какой-то розовой чистотой — не благоухание, а как будто след его.

Батюшка очень нездоров («в такие погоды вообще не могу встать»), но тут же (седьмой час) идет «пономарить» в Лазаревский храм. Я прихожу в начале девятого сразу к исповеди. Батюшка выслушивает мои недуги и только вздыхает. И едва он читает разрешительную молитву, как я тотчас (именно тотчас!) ободряюсь, словно и не было бессонной ночи, поезда и как будто окончательной

усталости. На службе отмечаю чуть раздражительную «каллиграфию» отца Ионы (хочет служить, как батюшка) и вижу батюшкину досаду на головную боль, на то, что надо думать и о кадиле, и о свече, и о чтении, и об артосе. Вижу, что его смущает наше слишком веселое пение «Верую», после которого «Отче наш» он просто читает со скрытым укором. По строгости его чтения за всех нас этого «Отче наш» я и улавливаю стыд нашего веселого, смутившего его «Верую». И хоть отмечаю все это, а свет и освобождение в сердце держу и причащаюсь спокойно, не взвинчивая себя, и радуюсь этой

простоте, запивая за схимонахами Николаем и Корнилием, за монахом Ананией, которые запивают Причастие, как в хорошее утро с морозу чайк — понемногу и в удовольствие прихлебывая горячее. Служащая при них старуха санитарка бесцеремонно поталкивает их, как детей, чтобы не мешали другим («я вам потом еще принесу»).

Потом, вспомнив Зионово на наши грехи «Да, да, это уж так... всё одно и то же, сто раз про одно», я улыбнусь, что прежние-то грехи старых людей разве были грехи? А нынешний прихожанин из своего высшего образования, поди, натащит

В исповеди такого интеллектуального добра, что не будешь знать, что сказать, – требники на эти тонкости не рассчитаны.

– Ну, не гордитесь. А каково было в Оптиной Амвросию, когда Леонтьев повернет к обители, или Лев Николаевич у порога станет ноги вытирать, или Достоевский. А вот хватало простого ума на всех, потому что не умом, а любовью все разрешалось, и вперед ею будет разрешаться.

...У звонницы издалека улыбается веселый прощенный Саша: «Еще и до Троицы простил».

В келье ждут американцы

из Джорданвилля, наспех
рассказывают страшные вещи
о сатанистах, масонских храмах
и вперемешку — о Германе
Аляскинском, о Серафиме Роузе.
Саша и отец Иона в меру сил
поддерживают разговор, но общим
он не становится. Отец Зинов сидит
через силу и не слышит вопросов.
Видно, ему действительно очень
плохо.

Мы с Валерием Ивановичем
определяемся на ночлег
в Благовещенской башне, и скоро
уже поднимается к нам отец
Амвросий: «Батюшка обедом
благословил». К вечеру спускаемся
под пенье, теньканье, трескотню,

карканье, пересвист всего
монастырского птичьего мира.

Батюшка пьет чай с дьяконом
Романом из Троице-Сергиевой
обители, извлекает «утешение»
имени Всеволода Петровича
Смирнова.

Я сетую на Палладия и его
«Лавсаик», на то, как соперничали
отцы в благочестии.

– Нет, то были не соревнователи
в дурном смысле, как вам
показалось, а богатыри духа, герои,
которых мы уже и представить
не можем. Помните этого бегущего
от дракона монаха? Он бежит
не потому, что страшно, а потому,
что бежит его собеседник. Монаху-то

не страшно, а бесстрашие может оказаться ловушкой тщеславия, и это он не от дракона, а от этой ловушки бежит. А мы? Одни немощи. Вон смеются на крыльце. И так с приездом отца Романа весь день. Молодые! А мне бы покой, но как прогонишь? Не поверят моему гневу. Я уже пытался – смотришь, обратно потихоньку тянутся. Ну, вот скажите, этому что надо? Как ему скажешь? (В проеме двери бритый мальчик, собирающийся в армию.) Занят я! Занят! Завтра приходи. Вот горе-то! Ну вот смотрите – стоит! Ты что, не слышал?

А со двора действительно смех, голоса, хотя ворота монастыря уже

закрыты, и иеромонах Аристарх туча тучей ходит по дорожке сада. Ему тяжело все происходящее, и нет сил остановить, и нет сил собраться с душой.

22 июня 1989

Окна в башне светлеют, и их беспереплетный простор вызывает в воображении корабль. Небо зыбко, как толща океана за иллюминатором нашего косо рубленного «наutilusа», у которого два угла сносны, а третий откровенно тупой, при четвертом – отчетливо острым. Звезд нет, и мне приходится увидеть их во сне – такие близкие и ясные, что хоть Валерия Ивановича буди,

но я уже догадываюсь, что они во сне.

Не слышал часов звонницы только в час и два. Остальные провожал, дивясь, как долго от одного до другого. Спустились. Утро уже жаркое. Из кельи отца Зинова вышел дьякон Роман с ограждающим лицом: «Кто такие?» Скоро с таким же лицом будет выходить на всякий шорох на крыльце Валерий Иванович, ограждая покой батюшки.

А сейчас нам уж только проститься. Выходим через хоздвор. Мужики кладут поленницы, косуля (откуда?) нетерпеливо высовывается из своей загородки, глядя на трех

играющих котят. Баба кричит на коров. Крепкие старики катят тележку с кислородными баллонами. Лица у стариков вполне литературные – откуда-нибудь из Помяловского, Писемского или Мельникова. Во всяком случае, таковы они в храме – ладные, обстоятельные, добротные, карпы сысоичи, спиридоны титычи. Одно слово – хозяева. Нам бы такие лица с летами нажить. Да уж куда...

21 июля 1989

Приехал к обеду. Встретил меня живущий тут второе лето московский мальчишка Витька. У батюшки заботы. Я заикаюсь, что мог бы

помочь с почтой.

— Давайте-давайте. Только отвечать нужно по-английски.

Гляжу, а конверты-то в большинстве и правда «басурманские». Оставалось только сказать «кхм-кхм» и стусеваться.

Пошел обустраивать жилье в родной уже Благовещенской башне. Скоро и Витька прилетел звать пить чай. Сад стоит в лесу подпорок — каждая ветвь обременена каким-то уж просто пугающим урожаем. Цветы буйствуют так, что на них тревожно смотреть — как-то это все впереворот. За столом новые люди. Я только что видел их, входя в монастырь, и невольно подумал,

что православные лица так родственны, что хочется поклониться, – будто где-то недавно видел или был дружен да забыл. И вот, пожалуйста, они тут, у отца Зинона.

...В начале восьмого становимся на вечерню. Часовня тесна всем, и даже от трех свечей душновато. Сначала Ваня открывает окно, потом дверь. Я уж за долгие годы в Церкви только-только сумел догадаться, что служба – это не полуневольная дань Богу, чтобы потом поскорее вернуться к своим делам, а именно главное дело и есть, именно единственно полное человеческое дело на земле, и стою без усталости,

и радуюсь слитности, и не могу насмотреться на отца Зинова, который в короткой мантии поверх серой рабочей рясы как-то особенно светло и легко чист, бесплотен. Вон Иван рядом стоит – литой, спело сбитый, шея колонной из воротника под черную крутую скобку волос – чистый Кирибеевич. Володя, несмотря на подрясник, насквозь москвич: очки, домашняя небрежность и даже здесь чуть ироническая свобода. Отец Иона строг, прям, чуть подчеркнуто серьезен – есть в этой опрятной ответственности что-то сродное молодым сельским учителям прошлого века. А батюшка давно где-

то та-а-а-м, чего словом не обозначишь, и там у него светло и небесно. В природе этих состояний нет, в обычной жизни тоже — вот и не знаешь, чему уподобить.

Это мелькало мне в отце Николае с острова Залита, которого теперь все по Руси знают благодаря фильму «Храм». Но там еще легкая чистая старость, свет возраста и духа. А тут видно, что возраст-то и ни при чем, что они в чем-то более существенном с отцом Николаем братья и сверстники. Батюшка читает канон к Причащению, и я со страхом отступаю в себя.

Ухожу в башню, пытаюсь читать, пытаюсь уснуть — ни то

ни другое не выходит. Сон наваливается за полчаса до того, как надо вставать к утрени. Бьет два, сторож Антоний стучит колотушкой (вероятно, той, что стучали еще в осмнадцатом веке), звезда чуть рябит в правое окно, а когда встаю – в левое над лампадой глядит луна, и поле под ней таинственно и тускло – старая желтая медь хлебов и пыль дороги. Выхожу со свечой. Шорохи и трески. Свет свечи вязнет в слепой тьме башни, и снизу дышит жутью. Я боюсь и заглядывать в нижний этаж, в каменный его мешок. Но, ребячески испытывая себя, спускаюсь и, чуть коснувшись пола, пулей вылетаю обратно. Дверь

гремит за мной так, что кажется, перебудит весь монастырь.

Звезды высоко, мелкие — зола золой. Пробегает в часовню батюшка. Идут Иван, Володя в своих подрясниках, черные на черном, ночью из ночи, белеет одно лицо. Витька уже горбится на скамеечке в часовне. Без четверти три начинаем утреню.

Часы бьют четыре... пять... Из двери тянет сквозняком, и в поклонах я улавливаю, что на крыльце кто-то молится с нами. В окнах проступает тусклый аквариумный свет. Я гоню от себя зрительное слушание канонов и псалмов, но ум все равно сторожит

повод к восхищению:
«Сии на колесницах, и сии на конех,
мы же во имя Господа Бога нашего
призовем...» Колеблются тени,
темный старый Деисус на одной
доске поражает скорбью Спасителя
и умоляющих за нас Иоанна
и Марии, Гавриила и Михаила, Петра
и Павла, словно им страшно просить,
а Ему почти не по силам простить –
великое напряжение скорби
о человеке. Свечи нагорают,
и иногда тянется рука Володи
или Ивана – поправить. Пение
собранно и покойно.

Я смотрю на спины родных
в этот час людей и вдруг думаю,
как странно отсюда на минуту

выглянуть в мир забастовок Донбасса и Воркуты, зла Абхазии и Карабаха. Возможно ли? Этот маленький ночной дозор, бодрствующий в небесной работе, пока мир теряет голову, внезапно видится какой-то трагически сильной стороной. Ведь они так каждый день, пока мы там спим или злословим. Корабль давно потерял цель, а они здесь, в корабельной машине, держат все в чистоте и порядке, уверенные, что, пока они бодрствуют, есть надежда. И она есть, есть! Вон как они спокойно и твердо проходят ночь.

В половине шестого Володя говорит: «Ну, а остальные три песни

канона к Причащению мы прочтем уже в пещерах. Батюшка уже ушел готовиться к литургии — в полседьмого он ждет».

Витька выходит в теплой куртке, в валенках с галошами. Володя раздает фуфайки, пальто. Мне отыскиваются построенные на волчьем меху сапоги прежнего наместника. Тесновато, но как в печи. Жмут немного. Я не успеваю пожаловаться Валерию Ивановичу, как он посмеивается: «Наместничьи сапоги ему тесноваты... Ну-ну... Подождите владычных». Спускаемся вниз под розанами рисованных на лестнице облаков. Из склада рам

и окладов вдруг выступил парадный портрет последнего государя. Успеваю увидеть, что написан он уже в тысяча девятьсот тридцатом году живописцем с фамилией Ульянов. М-да...

В пещерах сразу в свете дальней свечи в конце пещерной улицы видишь клубом пар изо рта. Потом будет все холоднее. Мраморное «Воскресение» алтаря проступает как сон. Володя, Иван, Алеша занимают места «на клиросе» — тут же рядом, касаясь плечами и головой пещерных сводов.

Ровно в семь «Благословенно Царство...». Как и всегда, тайные молитвы на антифонах батюшка

читает вслух. И здесь, в катакомбном холоде и зыбкой мгле, каждое слово полнится особенным смыслом и слышится впервые: «Прощения к полезному исполни, подая нам в настоящем веце познание Твоя Истины».

Век к концу (и мой, и общий), а истина все дальше. И пока совершается Жертва, сердце восходит все выше и тревожнее. Батюшка поднимает руки, и Спаситель с так же воздетыми руками словно проступает сквозь него: «Тя убо молю... удовли мя, силою Святаго Твоего Духа, облечена благодатию священства, предстати святей Твоей сей трапезе».

И всё тут, тут, перед нами:
«Благообразный Иосиф с древа снем
Пречистое Тело Твое, плащаницею
чистою обвив и благоуханьми,
во гробе нове покрыв положи...»
И так тревожно видеть, как он
склоняется над престолом, ограждая
и обнимая Пречистое Тело каким-то
колыбельно бережным движением.
Тут подлинно – Жертва и подлинно
клятва: «Возлюблю Тя, Господи,
крепосте моя, Господь утверждение
мое, и прибежище мое».

Я опускаюсь на колени
и благодарю Бога, что Он позволил
мне увидеть это таинство Вечери
и Воскресения. Светлое мраморное
«Воскресение» реет в кафельном

дыме и паре дыхания, и на сердце спокойно и свободно. Нет никакого другого мира и другой правды. Каждое слово подлинно, каждое движение единственно, и каждое желание просто. Это полнота, ничем иным не возмещаемая, и тут еще можно ослабшим и почти омертвевшим нашим сердцем расслышать, как некогда прекрасно и свободно задуман был человек и как он безграничен.

...Выходим все с неясным возбуждением, чуть громче, чем входили, хотя, кажется, никто, да и я сам этого не замечаем. Валерий Иванович догоняет: «Ну, как настоятельские сапоги?» —

«Да так и жмут». – «Ну-ну, хотите быть владычицей морскою?»»

Опять под розанами рисованных облаков, мимо ульяновского портрета государя – наверх. А уж там всюду солнце, и мы в своих валенках и фуфайках странны.

Уж собрался было домой, с наехавшим по делам отцом Владимиром Рубчихиным, но сразу не вышло. Отец Зинов сходил к отцу Серафиму. Московский Витька с замкнутым мальчиком, иконописцем Сережей нарезали ведро салата, накрыли в саду и сели за стол. Батюшка и давний его помощник из оставивших свое ремесло вгиковцев спешили

в Михайловский собор на репетицию катавасии со сходом, чего обычно тут не практикуют (пока нет наместника, и пока не до того благочинному).

— А то что за наказание: в мужском монастыре девицы заливаются! Ведь в женских монастырях мужских хоров не держат. Надо потихоньку уставлять пение.

— Да уж, — подхватывает отец Владимир, — наши бабы раскричатся, своей тайной молитвы не слышать.

Тут же отец Владимир и Владимир вгиковский меряются ремнями.

— Это на какой же дырке у тебя

ремень? Ну, монасенка, – смеется над товарищем отец Владимир.

– Да это я, – оправдывается послушник, – сейчас для пения отпустил, а так-то вот – смотри! – И оба смеются.

Потом еще сидим перед отъездом в келье. Отец Зинов у печки, ухватившись руками за край скамьи и подавшись вперед, как он всегда сидит, успевает сказать словцо и Витьке («Опять не спишь из упрямства? Подвижник...»), и Валерию Ивановичу («Скоро приеду посмотрю, что у вас там»), и отцу Владимиру про заботы в Константине и Елене («Алтарь делайте самый простой – вот Сережа

может несколько икон написать»)).
А выезжаем уж за полдень.

Хотя и это был еще не окончательный выезд. Заехали к отцу Николаю, изгнанному Гавриилом. В красном углу – государь. И первый образ новомучеников, где в клеймах красноармейцы, кинотеатр «Красный Октябрь» в одном храме и «Пиво» – в другом (клейма, горько похожие на фотографии тех лет), где этапы, мучения и расстрелы, расстрелы... Сам отец Николай, седенький, живой, – всё бегом. За обедом угощает водкой по-старому из графинчика с лимонной корочкой, живо спрашивает меня

о «Литературном Иркутске» (легендарной тогда христианской газете, читаемой всей страной), сетует на раскидистость программы газеты, спрашивает, какие письма Феофана Затворника посылать туда для именно сегодняшней пользы и как бы напечатать там целиком чины исповеди и венчания. Потом торопится поговорить об обществе «Память», о русофобии, о новых канонизациях, и делается даже немного неловко за свое неумение разделить его общественные страсти, которые особенно далеки от сердца после пещерной литургии. Ну, всё, всё, уезжаем...

27 октября 1989

День разгулялся, и в автобусе солнышко все грело и грело бок. Читал диалог Олега Михайлова и Льва Аннинского. Оба правы. Один корит власти, истребившие церкви, другой корит народ, истребивший эти же церкви, готовность народа сделать это после «Чаепитий в Мытищах», после пословиц вроде «Не годится молиться – годится горшки покрывать». И тут правда. Чем-то Церковь досадила народу, раз он так готовно разорил ее.

Крыльцо сёмочкинской церкви раскинуло крыла, и она словно чуть присела.

Батюшка выпросил обо всех

наших знакомых, ни на минуту не оставляя работы: «Не выходит у меня Ефрем Сирин. Да, вот такой почти безбородый – нашел на одной чуть читаемой фреске. Одного уже смысл. Это второй». Исполдволь стягиваются сумерки, лик меркнет, и он, жалея, что уходит час, а душа еще слышит образ, резко светлит скулы, лоб, и лик сразу свободно и сильно выходит из-под куколя. Потом легко чертит несколько стремительно живых складок мантии, словно не впервые чертит, а обводит уже бывшие или ловит ветер – так естественно подхватываются они мгновенным порывом. Удивительная отвага.

Вот и видно, как работается ему в счастливые часы, когда сердце покойно.

– Ох, мне же к отцу Серафиму!

Вспоминаю, что привез показать ему шиловские портреты Тихона и Филарета.

– Привезли? Ну-ка, ну-ка, давайте прямо сейчас. Не может быть. Вот это и есть тот Шилов? Фу! Фу! Как скверно. Лактионов-то на порядок выше. А это... Да это просто трусливо перед натурой и не похоже. Он что, по фотографиям пишет? – И брезгливо двумя пальцами, как жабу, возвращает.

Возвратившись от отца

Серафима, ищет для меня чтение:

– Вот поглядите автобиографию Григория Богослова. Теперь ни слога такого, ни людей таких нет. Богатыри духа, полубоги.

– А теперь, – вставляю я, – и захочешь быть полубогом, так прихожане и обстоятельства не дадут.

И он, будто про себя, но с отчетливым указанием моей ошибки:

– А разве этим можно быть или не быть?

И что-то, видно, задело его в моей необдуманной иронической фразе, давно тревожащее, горькое:

– Говорят, что православие

не удалось. Какая чушь! Мы потому и живы, что оно держит нас. Православие – это не религия, не один из ее видов, а новое человечество. Небо сведено с землею – какая еще после этого религия?

А потом уже о другом – о конкурсе на храм, посвященный тысячелетию Крещения.

– Показуха опять. И это при том, что нет денег в Толгском монастыре, нет в Оптиной, совсем нет на Валааме, а там работы, работы... Тяжело глядеть.

Я напоминаю один из наших прежних разговоров о Викторе Петровиче Астафьеве, которого я

зову сюда, чтобы они узнали друг друга, потому что чувствую, как важно это было бы Виктору Петровичу, который официальной-то Церкви побаивается, а тут, я чувствую, расцвел бы.

– Да и вы бы, батюшка, были утешены живым человеком, а не нашим часто пустым празднословцем, который все себя норовит показать.

– Да уж вот был у меня некто Макаров, который меня для какого-то «Вестника» снимал. Десять дней жил. И так я ему, и этак говорю, что устал, что пора уж ему уйти. Нет, говорит, вот еще музыку послушайте. Встал в Покровском храме на горнем

месте и давай мне Генделя играть. Спасибо, спасибо, говорю. А он: «Еще десять минут». Так час и продержал. И так каждый день.

А я говорю, что вот недавно с владыкой посидел за одним столом, так теперь Филарет в трапезной сзади за плечи обнимает. А еще вчера мог и на порог не пустить.

— Это уж так. А для меня наоборот — как уж кто с начальством сел, надо от него подальше.

— Ну-ну, — говорю, — что прикажете делать. Сидел-то на соборе.

Сплю опять плохо, ночью читаю Григория Богослова. Вот уж

подлинно: где теперь такие глаголы? Вон как пишет епископу Максиму: «Но что и против кого пишешь ты, пес? Пишешь против человека, которому так же естественно писать, как воде течь и огню гореть. Какое безумие! Какая невежественная дерзость! Коня вызываешь, дорогой мой, померяться с тобой в бегу на равнине, бессильной рукой наносишь раны льву». Пишут ли нынче владыки друг другу такие ревностные письма?

— Общество «Изограф» врет от моего имени, хотя я только и просил их найти себе покровителя в Синоде, без чего их общество ни то ни се. А тут читаю интервью, и в нем

определение их достижений: оказывается, теперь можно писать иконы независимо от Церкви, наверно на выставки-продажи. Молодцы, что скажешь! Все одно к одному. Недавно даже приезжал актер, который на студии Довженко будет сниматься в роли Христа. «Раз икону можно писать, отчего сниматься нельзя?» – вот аргумент этого неопита или невера, не знающего начал Церкви. Вот горет-то...

28 октября 1989

Зашел к отцу Тавриону.

– Ангина. Хвораю. Не выхожу никуда. Зато вот новости гляжу.

Вон пишут – три тыщи новых храмов открыли, а что-то никто не сообщает, что на Святой Руси нашлось три тысячи богобоязненных людей. Да уж что тысячи, десятков хоть, потому что начало премудрости – страх Господень. А храмы... Что храмы...

Прощаемся, он просит:

– Помолитесь о моем поправлении.

– Молитва-то, – говорю, – у меня слабая, батюшка.

– А это не нам судить. Вот мне старец говорил: живет человек, мается, грехи чашу весов перетягивают. А на другой чаше – молитва его и за него. И все эта чаша

никак не одолеет грехов, хотя вроде уж за него все человечество молится. А подошел совсем вроде пустой для веры человек, пробормотал от сердца: «Да помилуй Ты его, Господи!» Какая уж это молитва. А глядишь – чаша-то с молитвой перетянула!

День, начавшийся светло, вдруг как-то сник, обмяк, потускнел. Высокий сильный прут розы с одиноким бутоном странно случаен, словно ошибкой в этом дне.

Подошел отец Зинов по дороге на службу. Разговор свернул на Григория Богослова.

– Нет, нам уже не понять этой меры, как у них: прожил, послужил

и с полным пониманием порядка мира принимай венец славы. Разве он тут хвалит себя, описывая эти крики одобрения, плач, с которым его зовут сиротеющие без него прихожане? Ничуть. Вот они, вот я, вот — наше общее. А как про епископов пишет — заслушаешься и поневоле утешишься. Всегда, видно, было одинаково с верой. А Церковь наша невредима и чиста. Повреждено ее общество, люди в ней, вечная слабость наша. Эта пустая нарядность, эти блески на дьяконских стихарях, этот дикий покррой вместо устойчивых старых форм... Так во всем. А Церковь стоит как стояла, и надо только

омыть, о-лице-творить, вернуть
лицо.

Опять мне не хочется уезжать –
так сродно, спокойно на душе. Галки
кричат и косо летят под ветром. Роза
у колокольни высится крепко
и одиноко.

6 января 1990

Приехал на Рождество. Каково
оно тут? Ни разу как-то прежде в эти
дни не попадал. Накануне
на всенощной увидел, что служит
уже иеромонах – не дьякон –
Амвросий, недавно рукоположили.
И служит, может, по духу-то еще
и не очень глубоко, но молодо,
радостно, с какой-то счастливой

открытостью.

...Умываюсь снегом. Батюшка за стеной гремит дровами, затапливает, и скоро в трубе ровно и сильно гудит. К семи иду в Лазаревский храм. Горят едва две свечи. Отец Иона начинает проскомидию. Сложенный пополам седенький брат Василий (приехал пять лет назад хоронить брата, а возвращаться уж некуда и не к кому – остался) чуть переваливается через порожек, но когда я подхожу помочь ему, он отказывается: «Ничего, ничего, я сам, мне еще приложиться надо» – и как-то дотягивается до уголка

аналоя. Потом приводят схимонаха
Николая, которому уже девяносто
четыре года, и кое-как усаживают.
Стул высокий, и ноги старика,
как у ребенка, висят над полом.
Всю службу он старается
перекреститься, заносит руку, но так
и не довершает знамения: то ли
забывает, то ли уж и сил нет. И все
не то поет, не то плачет тем гласом,
которым поет клирос. На чтении
Евангелия ему помогают встать.
Он немного стоит, потом неловко
падает поперек стула.
Я поднимаю его, держу до конца
чтения и с горькой отрадой вижу,
что рядом с моей рукой
подсовывается и сухая ладошка

старика Василия, как будто он кого-то еще способен удержать. Сам как былинка, а вот подпирает сверстника. Глядишь, так вот вдвоем они еще постоят на земле и в храме.

Девушка-реставратор из Петербурга стоит в сторонке прямо, недвижно — чистая нестеровская свеча. Послушник Владимир и молодые рабочие Алексей и Георгий поют знаменным распевом, еще робко и тщательно, только обыкая строгому пению. И отец Иона напряженно слушает их, чтобы держать единство тона в службе, и все это вместе высоко и чисто. К Причастию приходят послушники, помогают Анании,

Василию, Николаю, и, расходясь, старики на минуту оживляются: вот Бог сил дал и еще на одну литургию.

Захожу после службы к отцу Зинону.

– А-а, Николай... Он живет уже в другом измерении. Отец Анания обычно перед Причастием приходит просить прощения у отцов. Подходит и к нему: «Прости меня, схимонах Николай!» А тот: «А ты кто?» Анания кричит: «Анания я, Анания!» Отец Николай откуда-то издалека, уже будто и не из нашей жизни, не то узнает, не то вспоминает: «А, Анания...» — но видно,

что для него это только какой-то забытый звук из оставленного мира, а Анании никакого нет.

Долго смотрит отец Зинов в «Нашем наследии» репродукции коринской «Руси уходящей»:

— Нет, это был холст обреченный. И не в Павле Дмитриевиче было дело, а в церковном состоянии. Там уже все было повреждено. И не зря он всех их не Церковью, а эстетикой пытался собрать. Но если для Церкви они уже были слишком рассеяны и разорены, то для эстетики еще слишком сильны — не давались. Вот до холста и не дошло.

7 января 1990

Выхожу из кельи в половине первого. Батюшка тоже собрался. Благословляюсь, чтобы были силы для долгой службы. В храме суетно и еще не тесно. Теснота начнется к часу. Выстывший за зиму храм отогреется и вспотеет. Часам к четырем закапает со стен и сводов, к развлечению многочисленных детей. Они будут ловить капли и искать случая отодвинуться, а то и ускользнуть от матери на улицу. К утрени я выйду вдохнуть морозного воздуха и увижу, как они бегают у храма, будто на переменке, и на радостный крик оставленной в храме девочки: «Помазают!» —

летят к елеопомазанию. И когда уже под самое утро я выйду на крыльцо еще раз, они все будут тут. Какая-то кроха на паперти готовно предупреждает каждого, кто выбегает из темноты: «Еще „Верую“ не пели». И они опять уносятся к «вертепу» – к высокой снежной пещере у монастырских ворот, где под елкой будет мерцать в свечах образ Рождества и белеть свежевypеченный агнец, чтобы детям веселее было проходить ночь до утреннего праздничного Причастия.

И вот все нейдет у меня из памяти «Русь уходящая». И все думается – уходящая ли? А вот это-то

что? Это радостное служение отца Ионы, этот младенчески светлый Василий, сующий ладошку под слабую спину схимонаха Николая, эта девушка-свеча, эти дети у вертепа, которые, вероятно, и век, и два назад были таковы. Это-то из какого народа и какого дня?

8 января 1990

Тревога ли души, волнение дня, напряженное сердце — не знаю, что причиной, но мне монастырские ночи длинны. Опять часы бьют положенные четверти и половины — и так, по четвертям и половинам, сплошь под звон и галочий стук колотушки отца Антония, и проходит

ночь. Встал в пять утра и читал Типикон — главу о видении мальчика, восхищенного Ангелами, когда он услышал: «Свят Бог, Свят Крепкий, Свят Бессмертный», и как уже потом испуганный народ византийский, узнав о чуде, прибавил звательный падеж и покаянное «помилуй нас», и это стало «Трисвятое».

После ранней литургии пришел отец Зинов.

— Вы читали в «Выборе» статью об общине? Ведь это просто утопия... Все вроде верно — нужны братство, чистота избранничества. Но откуда она, эта чистота, взялась в авторе? И что за нетерпимость?

Почему надо звать молодых – от шестнадцати до тридцати лет? А остальных и немощных куда? Христос же говорил: «Грядущаго ко Мне не изжену» – всех грядущих, кто еще готов покаяться. И потом, неужели не видно, что первохристианские общины не были так совершенны, как автор их выставляет, иначе бы разве они являли миру такой простой пример братского освободительного единения, такой счастливой правды и силы? Увы, с годами видишь, что слабые в ней не менее необходимы, чем сильные, и на безволии и пороке чище сияет добродетель. Опять в этом

сужающем выборе какой-то отчетливый вызов, опять умозрение, из которого торчит социальное сопротивление, и, значит, все это кончится ожесточением.

Непременно человек чем-нибудь свою свободу загородит и путь свой затмит. Приезжал тут брат отца Александра, загадывал загадку, которую любили атеисты еще античных времен: если Бог всемогущ, может ли Он создать камень, которого не сможет поднять Сам? Бедные вопрошатели, будто не знают, что Он уже создал его в их лице. Камень этот – человек. Вот Он создал его по всемогуществу, но бессилен перед его свободой.

И человек вместо того, чтобы возрастать из меры в меру, обожиться и обожить мир и положить его к ногам Творца, как дар за создание, сам искушается стать Богом. И много успевает, но доходит до вершины в Античности, в великой философии Греции, – и начинает топтаться на месте. И Бог по милосердию Своему сходит к нему и становится им (не человек восходит, а Бог нисходит), и опять впереди даль – на этот раз уж подлинно беспредельная. А человек, вместо того чтобы идти по этому открывшемуся простору, опять топчется на паперти с античными

философами.

19 апреля 1990

Собрались в монастырь с Всеволодом Петровичем и художником Толей Елизаровым. Толя, как всегда, несмотря на тесноту машины, носился мыслью высоко, думал о символике огня, о том, что это верхняя ступень перед Богом, что огонь равносущен, чист, не пускает к себе слишком близко, исключает ложное применение (что еще можно проделать с землей и водой). Одним словом – полагает его и путем жертвы, и самой жертвой. И путем к Богу, и Богом. И символом нетварности и т. д.

Только слушай.

Домчались за сорок пять минут.

Батюшка сразу затеял угощение с «утешением». Всеволод Петрович пустился в воспоминание процессов очищения золота, батюшка тотчас ответил ему технологией египтян из старых алхимических указателей. Потом Всеволод Петрович пустился богословствовать о спасительности красоты, а Толя – возражать ему на всякое слово. Так и шли дуэтом. Когда Толя заикнулся, что его зовут не то в Японию, не то в Штаты, а он не может, а я вспомнил свою поездку в Дагестан и намекнул, что такие поездки надобны для духа, чтобы он увидел себя в иных платьях

и подивился новизне, отец Зинов, посмеиваясь, снял с полки Григория Нисского. «Зачем стараться делать то, что не делает ни блаженным, ни к Царствию Небесному близким?.. Ведь Господь не заповедовал путешествия в Иерусалим как доброго дела... Да и что большего получит тот, кто побывает в этих местах, — точно Господь доселе в них обитает, а от нас удалился, или будто Дух Святой обилует среди иерусалимлян, а к нам не может прийти... Перемена места не приближает к нам Бога. Но где бы ты ни был, Господь придет к тебе, если обитель души твоей окажется такова, чтобы

Господь мог вселиться в тебя и ходить. А если внутренний человек твой полон лукавых помыслов, то хотя бы ты был и на Голгофе, или на горе Масличной, или под памятником Воскресения, — ты столь же далек от принятия Христа в себя, как тот, кто не исповедует и начала веры...»

Толя иронически поглядел на меня. И слава Богу, все родные вокруг: отец Иоасаф, которого я, все сбиваясь, порой зову Саша (а уж вот и он не Кликуша, и не Саша, а иеромонах Иоасаф), Иван, Александр Оборотов (все время краснеющий мальчик со слишком вольной походкой, которому

батюшка издалека: «Ты чего так ходишь? Чего руками размахался? Вот горе-то. В монахи он собрался...»). Вечером прошу встречи у отца наместника. Говорю о насущности религиозно-философского общества, о необходимости кельи для отца Зинова – сам он не скажет, а у него проходной двор.

– О, тут все сложно. Мы понимаем его значение. Из Канады зовут, из Франции, из Японии вот пришло приглашение с обещанием оплатить всю работу в конвертируемой валюте. И валюта нужна – котел вон у нас худой, на строительство нужны материалы.

Но решили воздержаться – тем более и сам отец Зинов против. Пусть наше закончит: Покровский храм, свой деревянный. Этим мы с владыкой и отговаривались, когда Патриархия нацеливалась подзаработать валюты. Сами решили нажать на идею иконописного лица. Вон поляна за Пачковкой пустует: выпросим, обустроим, сделаем скит – и работайте на здоровье. И отцу Зинову будет спокойнее, и нам, а то братия сетует, что у нас два монастыря – нижний и Святогорский, и между ними ревность. Так что будем думать о келье в скиту. А на Запад пока не пустим. Они ребята хитрые –

знают, что сегодня дадут за образ Зинона десять тысяч, а завтра возьмут сто. Пусть лучше у нас в храме будут эти вечные работы, чем по галереям их рассовывать. А с котлом мы как-нибудь вывернемся.

К ночи мечутся летучие мыши, как обрывки безмолвия. Выходит отец Амвросий:

– А скоро вылетят совы, полно их тут стало. Слетятся с десятков вот на этот дуб и кричат. Страшно. Услышите.

Но я вместо сов слушаю запись митрополита Антония и засыпаю ненадолго, но хорошо, без снов.

20 апреля 1990

Встаю к ранней в Успенском храме. Служба чистая и бедная, постная по пению, но какая-то мирная и родная душе. Хотел исповедаться, но поглядел, как отец Досифей накидывает епитрахиль, не слушая («Ну что у тебя? Ну давай. Ладно. „Аз, недостойный иерей...“»), не стал подходить. Хотя, верно, он столько слышал «куриных человеческих грехов», как звал их один из героев Замятина, что уж и по лицу читал, что ему сейчас начнут пересказывать грехи невестки да золовки...

Днем у кельи сидят Иван, Иоасаф, Георгий. Смеются своему.

Отец Иоасаф жалуется:

— Попало от наместника на крестном ходе, уже на Успенской площади. Поручи я развязал (к концу дело), а он подозвал: «Ты чего хулиганишь?» — «В каком смысле?» — «Он еще спрашивает. Кто раздевается посреди площади?» Эх, если бы я раньше догадался сказать, что поруч сам развязался, — вот бы я поглядел на него. Это он на меня за «послушлív» сердит. Я ударил на службе «послушлив», а он настойчиво поправляет — «послушлív», хотя все знают, что он сам недавно так же ударял, пока не подсказали. И «вонмем» вместо меня кричал, как будто мы забыли,

как он вчера на литургии хватил «Благословен Бог наш». Ему мигают: «Благословенно Царство», а он и не видит. Хорошо еще, отец Марк загородил. Еще «Слава Тебе, Боже наш» не пели, а уж отец Марк: «Рцем вси от всея души и всего помышления нашего». Архидьякон Стефан ему страшное лицо, а он свое — отключился. Вот и ему наместник навесил. Всем попало. Особенно отцу Аполлинарию. Высунул ненароком пузо с белым пятном на подряснике, о стену задел (а как иначе — не пролезает!) — вот и ему, чтобы обитель не порочил, десяток поклонов после Пятидесятницы. И Тихон

в подражание Гавриле поклонами сорит. Петру вон просфорнику (а он у нас как Ваня комплекцией) чуть чего: «Три поклона!» — а тот в ноги ему: «Только не это, батюшка, не согнусь».

Кинулись в обсуждение еды. Тут Иван с Кликушей соревнуются. И каждый клянётся завтра начать «голодовать». Саша-Иоасаф смеется, что раз он неделю «голодовал».

— Светлый стал, всех люблю, хоть в пример братии иди, но тут стали одни пироги сниться — и бросил свою святость.

Да и Иван попался с полными карманами просфор — он «голодовал» только два дня.

— Не учит нас «дядя». (Вы знаете, что Гаврилу звали «шеф», а этого «дядя»? Как-то не идет к ним «наместник».) Вон владыка никогда не забудет поучить. Входит — сам с порога говорит: «Все кланяемся владыке», — не позабудешься. Уходит — «ре-си-соль» дает: «Споем владыке „Многая лета“». (А ведь как вдумаясь, то и увидишь, что владыка действительно спасает забывчивую братию, которая еще недавно «с улицы» и может не ведать обряда встречи владыки и прощания с ним.)

Отец Амвросий щиплет лучину для самовара, по-детски счастливый, светится весь и смеется, смеется

над белым пузом Аполлинария.

Звонят по полчаса кряду. Мы сидим прямо под колоколами. Закроешь глаза и видишь, как гранятся небеса на длинные сверкающие лазурные куски и слышен в звоне гром июльской грозы, льдистый звон половодья, кузнечная веселая работа над крепким оружием – и, может быть, и сеча этим самым оружием: лихое, удалое, радостное дело – вся Россия до небес в едином порыве. Молодой нарядный петушок пытается запеть, не слышит себя за звоном, сбивается и, конфузясь, глядит – не видел ли кто...

Вечером после службы пьем

чай, идет мимо двери Иван, бормочет: «Опять обожрался!» Батюшка ему: «Иди-ка сюда. Как ремень носишь? Ох, нет на тебя Гаврилы».

– Нет, батюшка. Может, при нем я бы так не носил. Он чуть чего сразу на конюшню или в коровник. А все-таки что ни говорите, а единоначалие во всяком случае было. Как он нас без бани до Успения оставил, хотя до Успения еще больше месяца было. Тогда истопник трубку телефонную снял, топить ушел, а положить забыл. А у наместника звон непрерывный! Ударил в большой колокол, выгнал всех ночью, кто в кальсонах,

кто в чем: «Кто трубку оставил?» Молчим (хотя уж знали). «Ну, раз так – без бани до Успения». Как не полюбит, только держись. Бывало, увидит Елеазара: «Как дела, маэстро?» – уж очень за грассирование не любил. Тот закартавит: «Пгекгасно, отец наместник». Словно для того и спрашивал, чтобы эту картавость подчеркнуть. А отец Елеазар в жару без штанов ходил – толстый был, тяжело ему. Ну и идет так по двору меж экскурсантов седой, солидный – одно слово, архимандрит, а отец наместник ему вдруг подрясник-то палкой фр-р-р! – вверх: «Опять без штанов, бесстыдник, ходишь?»

Тут отец Елеазар принародно и сгорел. Один Кликуша против него всегда спокойно стоял. Тот пушит почем зря, а Сашка улыбается, и хоть бы что (и сам, говорит, всегда удивлялся: чего это не страшно?). И потом уж наместник отступился от Сашки. Только все говорил: «Попомните мое слово. Все вы разбежитесь, а этот наркоман останется». А Досифея – видно, за одинаковую их грубость голоса – не то что любил, а в архимандриты произвел. А уж сегодняшний отец Павел с владыкой обратно его понизили – больно безгласен и потом все пахнет, а владыка все твердит, что монах должен пахнуть

чистым бельем и кипарисом. Какой
из Досифея кипарис!
Вот и загремел...

Батюшка попросил рыбы. Иван полетел. Вернулся с ободранным локтем.

– Упал. Все. Пусть отец Тихон как хочет. На почту не пойду. Пусть другое послушание мне ищет. А то там бабы одни. Он что, не понимает, кого посылать, а кого нет? Слава Тебе, Господи, вот рука завтра распухнет, посинеет – и не пойду. Все во славу Божию, хотя это меня Бог наказал за злословие о наместнике. Прости, отец наместник.

После исповеди выхожу.

Холодно уже. Мнется отец
Аполлинарий. Вышел отец
Амвросий:

— Не боишься, отец
Аполлинарий? Щас тебя батюшка
поразнесет. Это тебе не поклоны
за белое пузо.

Отец Аполлинарий с тремя
зубами в разных местах вздыхает:

— Да уж. И какие поклоны, когда
Светлая седмица? Нет, этот у нас
долго не устоит — они, даниловские,
в епископы идут. Вот и репетирует.

Появляется на пороге батюшка.
Отец Аполлинарий к нему.
И, как обещал отец Амвросий,
батюшка в гнев:

— Вон! Вон! И слушать тебя

не хочу. И говорить с тобой не буду.
Ты матом ругался. Монашек...

Так под крик отца Зинона мы
и уходим с отцом Ионой поговорить
о дне, о Светлой седмице,
о завтрашней службе, пока
не выйдут звезды.

21 апреля 1990

В шесть зашел в мастерскую
Митрофан Дмитриевич (бывший
военный из Тулы, врачующий отца
Зинона травами), принес сапоги
и тулуп. Пошли на службу в пещеры.
Георгий шел впереди, пел «Христос
Воскресе!», и было отчетливо, что он
пел всем лежащим здесь песнь
Воскресения, пел тихонько,

но твердо – для них. Отец Иона вынимал частицы бережно и так же, как отец Георгий, – «адресно» и твердо: «во имя...» Митрофан Дмитриевич прочел синодик близких погребенных из братии – каждая частица с памятью. Провели литургию с одним поющим вгиковцем Володей, изредка помогая ему в «Христос Воскресе». И, только причастились, где-то тоненько зазвенело, как эхо: «Хри-стос Воскре-се». Бабушка шла где-то улицами пещер. Потом их набилось сразу много. Володя только успел шепнуть Георгию: «Убери просфоры. Щас все сметут». И точно – они враз подобрали и артос, и запивку

и только потом пошли кланяться отцу Савве. («Савваитки, – досадливо поморщился отец Иона. – Какая гордыня: он ведь обещал, что будет окормлять их и после смерти, – вот они и бегают»).

Поднялись наверх. Солнышко, зяблики поют. Теплынь. Скоро зазвонили. Володя посетовал: «Уже устали за Пасху. Сейчас еще ничего – только часа два и звонили, а в первые два дня, кажется, только два часа и не звонили».

Скоро батюшка пришел в белом подряснике и греческой скуфейке, похожий скорее на бердичевского раввина, а там и Амвросий в такой же плоской круглой скуфье –

ЭТОТ вышел вылитый турок. Привыкнешь к одному виду, так другой сразу все меняет. Иван уже смеется: «Эх, надо бы по руке-то молотком шибануть. Не распухла. Придется на почту идти». А там уж и отец Иоасаф с миской. Батюшка смеется: «Рыбьи головы несет». Отец Иоасаф обмирает: «Прозорливец! Как узнал?» Поднимает крышку — точно. «Чутье у меня. Я их люблю и, как Петр Петрович Петух у Гоголя — осетра в пироге, за версту чувствую».

Они уходят наверх, пристраиваются на пенек и весело поплевывают костями. Снимаю «на карточку». Отец Иоасаф:

— Давайте, давайте, смиряйте

нас — вот, мол, какое нынче в монастыре «умное делание»... А коли писать надумаете, то и Митрофана Дмитриевича, и Ваньку за компанию вставьте — нечего им тут отдельно стоять. И про меня — про головы не обязательно, а что Кликуша — можно. И как батюшка отца Амвросия гоняет, напишите. Ох, батюшка, сделаешь ты его святым при таких подвигах смирения.

— Ничего. Пускай становится. Ну чего встал (это уже отцу Амвросию). Уже святой, что ли? Иди чай завари.

— Английского?

– Китайского.

11 мая 1990

В келью бочком с порога протискивается послушник Александр. Докладывает:

– Сегодня по старому календарю двадцать восьмое апреля. День семинадесять апостолов, Керкиры-девы (послушание вырабатывает привычку жить строго по церковному календарю).

– Стой, стой! Каких семнадцати апостолов?

– Семинадесять...

– Так семнадцати или семидесяти?

– Семинадесять...

— Вот бестолковый!
«Семинадесять» — это только семнадцать, а не семьдесят. Ну ладно. И каких?

— Керкиры-девы... и... —
Александр сбивается и умолкает.

— Вот видите! У него Керкира-дева — апостол. Вот горе-то! Иди учись. Пробегал вчера. Где был?

— В лес ходил. Птицы поют, щавель собирал. Дьякона видел. С палкой шел, как игумен.

— Ладно-ладно, иди.
«Семинадесять»!

4 июля 1990

Приехал поздновато. Батюшка с отцом Тихоном сидят у кельи.

— Не знаю, к кому и под благословение подходить.

Отец Зинов, кивая на отца Тихона:

— А вот к начальству, к начальству.

Спрашиваю, не замучили ли монастырь киношники.

Отец Тихон:

— Да уж... Один вроде ничего. Документальный фильм хотят про нас сделать. А другие явились с художественным — про афганца и его несчастную любовь, в конце они оба кончают с собой. А все свидания у них в монастыре — во какая нам реклама.

Скоро уходит. Батюшка

поднимается:

— Пойдем, гостя вам представлю.

А в келье-то отец Виктор Мамонтов! (Мы были с ним сто лет назад молодые литературные критики, и в Переделкине на одном из семинаров с ним особенно любили поговорить Екатерина Виноградская, Лиля Брик и Мариэтта Шагинян, потому что он был специалист по началу века. Потом я потерял его из виду, а уж когда нашел, он был игуменом и служил в Латвии.) Сидит над сундуками и чемоданами.

— Вот Кликуша наш клад нашел. Архивы монастырские. Взгляните-ка.

Гляжу, папки сорок первого – сорок девятого годов, время, когда монастырь более всего бесчестили. Братии было тридцать пять человек. Несколько эстонцев из сету. (Сету – православные эстонцы. – *В. К.*) Игумены Парфений, потом Павел (Горшков). Павла более всего и срамил главный монастырский хулитель семидесятих лет – писатель Геннадий Геродник. А у Павла всех просьб к гебитскомиссару в Пскове за все годы – дозволить братии купить снетков или иной рыбки на посты. Больше ничего. Судя по ведомостям келаря и эконома, жизнь была проста и бедна. Хороший пример нынешней ослабившейся

иноческой жизни.

Устроился в «своей» Благовещенской башне, почитал и спустился к чаю. Отец Виктор почти не переменил позы:

— Вот самый-то дорогой материал — письма, дневники, проповеди, записки митрополита Вениамина (Федченкова), который лежит здесь под нами, в пещере. На покое здесь был.

Я вспомнил рукопись владыки Вениамина из монастырской библиотеки — о его детстве, юности, начале служения, о Белой армии, о Врангеле, с которым он уходил в Константинополь. Кидаюсь перебирать папки. Нахожу рукопись

с именем «Хорошие люди» и тотчас зачитываюсь — так это важно именно сейчас. Владыка говорит, что литература, по выражению Гоголя, слишком часто «припрягает подлеца» и редко пишет хорошего человека. А писал-то это владыка в тысяча девятьсот пятьдесят третьем году, когда до настоящей черноты в литературе было еще как до небес. Сейчас бы кто написал книжку с именем «Хорошие люди».

После вечерни сталкиваюсь с игуменом Тихоном. Разговорились. Спрашиваю о проблемах, которые важно было бы помянуть в новой газете «День и ночь», которую издатели решили начать с рассказа

о монастырских заботах. Отец Тихон называет нерациональность нового хозяйствования при большой скученности построек, неуправляемую котельную, из-за которой приходится отказываться от отопления зимнего Михайловского собора (от этого храм «потеет» зимой, и может кончиться тем, что полетит штукатурка — не дай Бог на молящихся). Потом обрывает перечисление и дает дельный совет: не вмешиваться.

— Пусть газета сформулирует сама, чего хочет. Не подкидывайте им. А мы с наместником поглядим, да и откажем в статье-то — помощи

не будет, а напрасных хлопот и от кино хватает.

Подходит отец Александр и с порога сетует, что отстоявшая Россию от татар в святой бескровности Владимирская икона Божьей Матери сослана в музей и что это преступление перед душой народа. Я развиваю его мысль рассказом о празднике иконы Любятовской Божьей Матери и о том, как бабушки идут под уже нечудотворный образ, потому что настоящая Заступница в той же Третьяковке. А там замелькали в беседе «Аргументы и факты», телевидение, прогнозы, «улица» за оградой замелькала, и мы

попросились с отцом Александром – этого добра и за монастырской оградой довольно. А отец Тихон еще сетует на новых верующих, которым умствование подавай вместо духовной работы. И хорошо сказал: «Когда, положим, человеку позарез надо ехать, он бежит на станцию и не спрашивает, чисты ли вагоны, все ли люкс, а берет и едет в общем – в тесноте, да не в обиде. А нынче непременно укорит: и храм аляповат, и священник не умен, и дьякон гугнив, – ну, значит, никуда ему «ехать» и не надо.

Прибежал батюшка. Пошли чай пить. Пришел и Кликуша (не помню – говорил ли,

что прозвище это дано было ему за заполошность). Похвалился, что приехал его отец и что раньше он только говорил: ты свою пропаганду оставь, сам молись, а я жизнь прожил, мне уж меняться было бы смешно, а тут прямо с порога похвалился, что из партии вышел! Саша (все никак не привыкну, что он отец Иоасаф, да и сам он еще больше оглядывается на «Сашу») тут же и рассказал, как нашел архив.

— Гляжу, у отца Серафима в горе, под крышей, где-то в совсем уже неположенном месте, на самом верху, свалены дрова. И не добрался бы, если бы не мое обычное любопытство. Полез,

раскидал эти смущающие дрова, там – чемоданы. Ахнул про себя: «Все, попал в тайну! Испытание! Не сокровища ли?» Откинул крышку – там бумаги, вторую – бумаги, третью – бумаги. Ну, может, хоть карта Острова сокровищ. Нет – «Входящие», «Исходящие», «Записки епископа». Только вздохнул – испытание. С досады забросил на место и опять завалил дровами. Потом уж сказал наместнику – не прореагировал, отцу Феодосию (библиотекарь, сменивший отца Тавриона) – «как-нибудь посмотрю». А я потом еще заглядывал и прочитал там, как владыка Вениамин «сорокоуст» служил,

сорок литургий перед тем, как решить окончательно, ехать ли ему в Россию. Пишет, что все решил сон, в котором он увидел, как в нашей обители идут два крестных хода: один внутри, другой – вне стен. И в том, что вне нет крестов, одни иконы, а у нас и кресты, и иконы.

– Как же, – говорю, – отец Нафанаил выпустил из внимания эти сокровища?

– А может, он и забыл, – отзывается отец Зинов. – У него вон сколько нор и каморок во всем монастыре. Обходит к ночи, гремя ключами. В пещерах я его часто видел. Поневоле подумаешь,

что золото в гробах прячет. Он ведь у нас из войск НКВД, как и дьякон Антоний, – они народ, на сон крепкий.

Не знаю, как отец Нафанаил, а Антония я вижу часто – и служит постоянно, и в саду косит, и подрезает, поливает без устали, и ночью его колотушка весело стучит каждый час, едва умолкнет последний удар часов. Потом Георгий жаловался: только разоспишься, а он у кельи ка-а-ак даст – чистый пулемет, и сон как рукой снимет. Хорошо для смирения – больше помолишься.

5 июля 1990

Всю ночь воевал с крысами. Вначале подумал – птицы на кровле. Ан нет – рядом на полу. Глянул, а тень на полу нюхает. Хватил ботинком. С визгом в угол и вниз клубком. Да их несколько. И так уж и не уснул, потому что через несколько минут, чуть стихнешь, – опять. И как долго не светало...

Небо пасмурное. Чуть дождался половины пятого. Почитал канон ко Причащению – и в Никольский на исповедь к батюшке. Исповедал в алтаре. Как раз с Антонием и служил. Встал в уголке. Старик рядом: «Тут монах стоит, но, может, еще не придет». Но когда монах пришел, меня оставил – ладно,

поместимся. И я вместе с ним пропел всю службу. Потом батюшка сетовал: «Ну и хор у нас!» Я заступился: «А что? Хор, по-моему, хороший. Во всяком случае, мне показалось, что я хорошо пел». Батюшка смилостивился: «Впрочем, я, когда молюсь, не слышу его». Так жаловались женщины из хора у отца Виктора. Спросят его: «Ну, как мы пели сегодня?» А он – я молился, не слышал.

Опять заглянул после Причастия в Корнильевский храм. Старухи, дети, калеки. Бедная, еще не расправившаяся после сна утренняя толпа при царском мерцании киноварей

и ультрамаринов иконостаса.

Днем ходили в Покровский. Зинов забелил все свои «разведывательные» фрески и в алтаре и на стенах, и храм засиял чистотой пропорций и чудной ясностью форм.

– Вот эти формы и жалко. Поэтому поставлю иконы и допишу их здесь, на месте, чтобы целое слышать. Наместник обязывает к Покрову. Вокруг пуцу только орнамент. Пусть уж они после меня забивают храм, чем хотят, а я сдам, как сам вижу. Я уже махнул рукой на свои желания: все равно они сделают по-своему. Михайловский храм так и отказались

переделывать — им памятники
нужны, а не церкви. И отец
Феодосий — он по образованию
архитектор — тоже против...
И Сёмочкин. Я уж боюсь говорить
о Борисе Степановиче Скобельцыне
и бабушках. Разве для смирения
такие храмы хороши: опустил глаза
в пол, чтобы не видеть, и молись.
Ничего не вышло и с открытием
фресок в Успенском храме,
о которых Савва Ямщиков все
хлопочет. А я все простосердечно
думал, что сегодня, при увядании
слова, при умирании искусства
слышания Евангелия и дара
проповеди, особенно обостряется
значение изобразительного

наставничества, возрастает сила образа.

Пока пили чай, наладился дождь. Отец Виктор уезжал, когда он уже разошелся как следует, и потом шел весь день, так что на вечерне в сёмочкинском храме вдруг застучал по целлофану, посланному на пол на время работ, и надо было нести царские врата в алтарь.

Батюшка смущенно взглянул на меня — капает, — словно извиняясь за архитектора и переживая неловкость оттого, что тот узнает и будет переживать. И как бы и передо мной испытывая неловкость, что вот труд моего товарища не устоял и мы это оба

видим. И даже еще как будто и тот оттенок, что это наша тайна, которую надо бы утаить от Сёмочкина или так сказать, чтобы она была не болезненна.

Отслужили и повечерие. Читал Витька.

– Сколько поклонов, батюшка?

– Девять.

– Значит, всего три ошибки, а я думал, будет тридцать. (Это у них условие – Витька за каждую ошибку в Шестопсалмии кладет три поклона.)

Я устраиваюсь спать в храме – тем более что до утрени осталось четыре часа.

6 июля 1990

Полчетвертого вошел Георгий. Пора умываться. Дождь перестал. Туман. Светится окошко у отца Амвросия. Зажигаем свечи. Ждем. Не идут.

– Наверно, у батюшки голова болит. Он ведь почти не спит. Ну, подождем до четырех.

Я иду к звоннице. Окошко у отца Амвросия погасло. Бьет четыре. Тут же с гульбища деревянная очередь колотушки отца Антония – не спит сторож. Пробыл фонарем с гульбища коридор света на звонницу: кто там? Ходит, постукивает палкой, бормочет.

– Ну что, – говорит Георгий, –

пойдемте досыпать. После четырех у нас ничего не бывает.

Утром батюшка кается: «Проспал до пяти. И будильник не разбудил. Вот горе-то».

А мы и рады – слава Богу, хоть раз выспался.

Я сходил к литургии, помянул своего товарища, дивного художника Юру Селиверстова, утонувшего двадцать восьмого мая. Почему-то уверен, что моя записка о нем попала к мелькнувшему у алтаря отцу Тавриону: ведь мы с Юрой были у него год назад.

В десять начали панихиду по Юре (Георгию) в нашем храме вдвоем с батюшкой. Я, как мог,

шел в пении за батюшкой, и, может быть, из-за этого не было настоящей глубины переживания и печали, но зато было волнение сослужения и единения, и Юра все время мерещился тут за спиной, и как будто видел нас и радовался с нами.

Вышли, а тут уж киношники налетели.

– Снимаем фильм «Верую». По монастырям России. На Валааме были, в Оптиной. У вас самое живое. Можно тут снять?

– Снимайте. А художника – кого увидите там, в мастерской, того и снимайте.

Пошли в келью. Там крутится

Витька. Это не на шутку разгневало батюшку: «Я уже у себя не хозяин. Кто хочет, заходит. Уходи сейчас же!»

За чаем опять о церкви:

– Дали бы вот хоть эту наверху сделать, как хочу. Думаю, сюда никто вмешиваться не станет. А с иконописным скитом, как желалось, боюсь, ничего не выйдет – владыка Владимир честолюбиво вынашивает замысел лица, а дело должно быть живое. Да и похоже, и владыка, и отец наместник Павел оба уйдут, а какого нового пришлют – еще Бог весть, может, вообще бежать надо будет. Живого духа не прибывает, остатки

старого рассеиваются. Да и иерархи какие идут. Наш вот Гавриил – что-то вспомнилось – опять, говорят, муки претерпел. Дьякон от него прибежал, рассказывал: денег спросил с приходских попов больше возможного, а они его (народ-то крутой сибирский, там и из зэков поп не в диковинку) побили его прямо в алтаре. До больницы дошло. Они к нему потом туда каяться ходили, а он в гнев. Ну ему тут в палате и добавили. Вот характер! В легенды войдет! И братия наша! Аполлинарий, которого, бывало, при опоздании его на службу Гавриил встречал словами «Се жених грядет в полунощи!»,

вон какое пузо вывесил – подлинно Господь «живот дарова», молится, как некоторая братия, на коленях, уткнув голову в пол. И недавно как услышал, что отец Никандр, у которого «часть клавиш западает», вместо «Отче наш» «Верую» запел, так повалился на это пузо от смеха и запрыгал как мячик. Тут уж и все над ним. Смех и грех! А с «Женихом-то в полунощи» и сам Гавриил любил – чтобы вся братия в два ряда, а он на это восклицание из алтаря... Дети.

15 августа 1990

Приехали с Валерием
Ивановичем на тартуском дизеле.

Понизу (видно, уж тут так всегда) стоят в Печорах туманы. Прохладно, но с каждым шагом в гору отчетливо теплеет. Как всегда, оба перед дверью батюшки робеем. На «Молитвами святых отец наших...» — тишина. Пошли в мастерскую — никого. Опять пошли к келье «Молитвами...» — батюшка вполглаза из двери: «А-а, а я слышал там шуршание у двери, думал, что это белка, которую только несколько дней назад отпустил. Взял дитем, подкормил, и теперь она еще нет-нет прибегает под двери. Тут на отца Антония сзади прыгнула — за меня приняла. Он говорит, слышу, по мне когтями

цап-цап – и вверх, и прыг на скуфью, я сам не свой – вот, думаю, и нечистая сила».

Валерий Иванович выпросил все необходимое для нашего собора Рождества Иоанна Предтечи и услышал вместе с прямыми множество боковых ответов на вопросы, которые еще только предстоит задать, когда он войдет в дело поближе. Вспомнили еще раз о «мученическом венце» Гавриила и позлословили, что скоро его кафедра будет дробиться и он будет зваться «епископом Комсомольско-на-Амурским и Советско-Гаванским». Валерий Иванович вспомнил недавнее интервью

владыки в газете «Факт» под названием «Перестройка, хозрасчет, прогресс». Предприятие, а не Церковь. Отец Зинов машет рукой:

— Боюсь, опять путь будет избран ложный. Разве сейчас до пышности, до эстетических пиров в обустройстве храмов, когда внутри все до дна разорено. Сейчас бы не сотни храмов брать и не стяжателей художественных множить, которые прилепились к церковным заказам, а основы искать. Да только ку-у-да... А власти еще это поощряют, может не без тайного умысла: пусть побольше берут, не до Бога будет,

СМУ и тресты замучают, а заодно, глядишь, и внешнюю работу сделают, приберут, что могут. А там понастроят мертвой мишуры, истощатся и во второй раз оставят народ сиротой, с одними декларациями про «общее дело». А до духа все равно не дойдут – деньги замучают, как бы ни прятались за духовный словарь. Везде, везде надо было бы назад... Вот с Крыпецким и другими новыми монастырями – это ведь не естественное рождение, а умом взятое благо, значит, уж и не благо – от ума-то. Вон пчелы жужжат. Когда улей полон, рой вылетает, и, значит, пора ставить новую колоду. А если

отсюда взять и туда посадить, то и тут сойдут на нет, и там не приживутся. С духа, с духа надо начинать, с восстановления церковного дыхания. А то мы начинаем с уверенности, что монастырь принесет доход, — это при общем-то нестяжании...

Отдаю ему книги Николая Кузанского, замечая, что, похоже, характером был в Аввакума — тоже темперамента не мог удержать. Отец Зинов вспоминает:

— Я говорил вам, что Аввакум у Клыкова не похож?

Валерий Иванович:

— А каким он, по-вашему, был?

— Маленьким. Уж очень был

заводной — такими обычно маленькие бывают. В Устюге его дюжие молодцы не потому на себе перли, что больно крупен, а потому, что уж больно, видно, верткий был и злой — не удержишь. Чистый вон наш маленький петух. Слышите, кричит? Это он большого петуха вызывает. Сейчас встанут друг против друга, головы нагнут и начнут смотреть, не мигая, — в точности Аввакум с Никоном.

Зашли в Покровскую церковь. Деисус почти готов. Рождество и Преображение уже на определенных им местах, мрамор алтарных колонн светлеет — чисто, торжественно, как-то смущающее

высоко по интонации.

— Вот стену чуть потемню, трону охрой колонны, чтобы потеплели и чтобы золото пригасить, пушу тонкий, чуть видный орнамент — и все. Наместник все просит фресок, подозревая, что я не пишу их только из лени, желая ограничиться малым. Ну, напишу, сдам, а только ведь все равно знаю, что это не нужно ни монахам, ни прихожанам. И не для них и делаю. Хула, похвала — какая разница. Как умею, молюсь и, как умею, пишу...

Я говорю, что и корить тут некого, потому что монахам и приходу действительно не до того, что они не того ищут и не то видят,

что зрение ослаблено и разрушено, а скорее и просто еще не сформировано – слишком мы скоро всего хотим, минуя труд настоящего устройства души.

– Да, вот и Лесков писал, что наш народ крещен, но не просвещен. И с прихожанами я понимаю, но с монахами не соглашусь. Им это должно быть надо. Они – профессионалы. На то шли. А если не «профессионал» (в служении Духу), то – на все четыре стороны. Если не видят, значит, ничего не слышат в богослужении, где порой и епископы «автоматикой» берут. А когда бы слышали, то понимали,

что в молитве образ равен слову, и пению, и самой молитве, что тут врозь ничего нет. И каков образ, такова и молитва. А у нас умудряются «духовный опыт» где-то вне богослужения наработать, а в церкви только отбарабанят и опять за «умное делание».

Я вглядываюсь в рождающийся иконостас и предчувствую, как сложны будут отношения с ним у братии и у бабушек. С горечью предвижу: чем далее, тем отношение будет сложнее, потому что он уходит все выше и это грозное требовательное православие не по духу расслабленным «профессионалам». Тут высота

как чистота «без соринки». А уж русский христианин к соринке-то привык, и она ему дороже чистоты и строгости. Тут расслабляться нельзя, как и в высокой молитве отца Зинона. Достаточно послушать, как он поет стихирьы и читает каноны на вечерне или утрене в пустом храме с двумя-тремя молящимися, с какой полной чистой силой, и поймешь многое и в его письме.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек

бонусными картами или другим удобным Вам способом.